

Юрий Мельников

Мэйхуа. Триптих 2.0

Хорхе Луис Борхес однажды заметил, что за всю историю человечества было рассказано всего четыре истории: об осаде города, о возвращении, о поиске и о самоубийстве бога. «Мэйхуа.

Триптих 2.0» — это смелый и, без преувеличения, грандиозный литературный проект, который берет эту лаконичную формулу и превращает ее в свою архитектуру. Это книга, которая исследует их как фундаментальные законы бытия, как строки кода, на которых написана сама реальность. Первая часть цикла — триптих микророманов «Дорога в тысячу лет», «Тропы» и «Река» — мастерски разыгрывает первые три архетипа. На этом этапе кажется, что перед нами — виртуозно исполненная, но все же классическая сага о травмах XX века. Но это лишь прелюдия. Во втором триптихе — повести «Эффект наблюдателя», «Битва при Бунъэй» и «Код(а)», автор сбрасывает маску реализма и погружает читателя в метафизическую бездну, где на сцену выходит самый сложный и таинственный из сюжетов Борхеса — самоубийство бога...

Оглавление

Книга первая. Дорога в тысячу лет.....	6
Пролог	6
Часть первая	7
Глава первая	7
Глава вторая	11
Глава третья	14
Глава четвертая	18
Часть вторая	20
Глава первая	20
Глава вторая	23
Глава третья	24
Глава четвертая	27
Часть третья	30
Глава первая	30
Глава вторая	31
Глава третья	33
Часть четвертая.....	36
Глава первая	36
Глава вторая	37
Эпилог	39
Постскриптум	40
Глоссарий:	41
Книга вторая. Тропы.....	47
Пролог	47
Глава первая	48
Глава вторая	51
Глава третья	53

Глава четвертая	55
Глава пятая	59
Глава шестая.....	61
Глава седьмая.....	63
Глава восьмая.....	66
Глава девятая.....	68
Глава десятая.....	71
Глава одиннадцатая	73
Глава двенадцатая.....	74
Эпилог	77
Глоссарий:	79
Книга третья. Река.....	81
Предисловие	81
Пролог	83
Часть первая	85
Глава первая	85
Глава вторая	88
Глава третья	91
Глава четвертая	94
Глава пятая	98
Часть вторая.....	101
Глава первая	101
Глава вторая	103
Глава третья	105
Глава четвертая	108
Глава пятая	110
Эпилог	112
Глоссарий:.....	115
Эффект наблюдателя.....	118

24 ноября	118
1 ноября	119
2 ноября	121
2 ноября	122
2 ноября	124
3 ноября	125
3 ноября	127
4 ноября	129
5 ноября	131
6 ноября	133
7 ноября	134
(без даты)	135
Битва при Бунъэй.....	137
Пролог	137
Глава первая	138
Глава вторая	140
Глава третья	143
Глава четвертая	145
Глава пятая	148
Глава шестая.....	151
Глава седьмая.....	152
Глава восьмая.....	155
Эпилог	158
Глоссарий:	160
Код(а)	162
Пролог	162
Часть первая	163
Глава первая	163
Глава вторая	165

Глава третья	169
Глава четвёртая	172
Часть вторая	176
Глава первая	176
Глава вторая	178
Глава третья	182
Глава четвертая	184
Часть третья	188
Глава первая	188
Глава вторая	190
Глава третья	192
Глава четвертая	195
Эпилог	197
Глоссарий:	199

Книга первая. Дорога в тысячу лет

Пролог

Много лет спустя, когда новые кварталы Пекина поднимутся над пылью и памятью, старый учитель Чэнь Ван все ещё будет вспоминать этот последний день в своей школе, как вспоминают о последнем сне перед пробуждением.

Он уже тогда понимал, что больше сюда не вернётся — не потому, что не захочет, а потому, что некуда будет возвращаться: стены, пропитанные голосами и шагами, снесут, как сносят старые дома, чтобы освободить место для будущего, в котором нет места для прошлого.

В классе было непривычно пусто, и каждый его шаг отзывался едва слышным эхом. За окном, за пыльным стеклом, город уже начинал новую жизнь: экскаваторы рыли землю, словно искали в ней забытые кости, а ветер носил по двору обрывки старых тетрадей, как клочья чужих воспоминаний.

Чэнь Ван медленно провёл рукой по парте, на которой когда-то вырезали имена, и почувствовал, как под пальцами дрожит не дерево, а сама память. Он знал, что всё это было predetermined: и его уход, и исчезновение школы, и даже этот вечер, когда солнце садится так, как будто прощается не только с ним, но и со всем, что было здесь когда-то.

Он сел за свой стол, открыл старый, потрёпанный том русской поэзии — тот самый, который сопровождал его всю жизнь, — и вдруг понял, что слова на страницах давно уже написаны не для него, а для кого-то другого, кто придёт потом, если вообще придёт. Всё уже было: и этот класс, и этот закат, и даже его одиночество, которое казалось уже не личным, а частью какой-то древней, неумолимой истории.

Ветер за окном шевелил занавеску, и в этом шорохе ему послышался голос — не чей-то конкретный, а сразу всех, кто когда-либо сидел в этих стенах, всех, кто любил, ждал, терял и забывал. Он знал, что в тот последний вечер, он должен был вспомнить всё: не потому, что хочет, а потому, что иначе не сможет уйти.

Он закрыл глаза. И тогда Пекин, этот новый, беспощадный Пекин, отступил. Осталась лишь пыль — не просто пыль времени, а пыль воспоминаний, закручивающаяся в причудливые, невидимые смерчи. И в этой пыли, в этом танце несуществующих частиц, он увидел её. Ту, чьё имя было записано в его сердце задолго до того, как он её узнал.

Она. Мэй Линь. Имя — словно колокольчик из далекого, забытого сада. Или, может быть, это имя — не имя, а целый сад? И в нём цвели берёзы, которых здесь никогда не было. Моя учительница. Нет, не просто учительница. Мой компас. Моя дорога. Дорога длиною в десятки лет. Или всего в одно мгновение? Пятьдесят лет — это сколько шагов? А тысяча лет? Сколько падений? Сколько раз я должен был ошибиться, чтобы прийти сюда, в этот пустой класс, где пахнет мелом и прошлым? Я был дураком. Вечный дурак, что искал в чужих глазах не отражение, а целую вселенную. Её глаза — две чернильные кляксы на чистом листе судьбы, а я, дурак, хотел прочитать в них всё, что было предназначено.

Часть первая

Глава первая

В тот год весна в Пекин пришла рано, разбудив что-то, что ещё окончательно не проснулось, но уже готовилось выйти на улицы.

Город замер, словно затаившись, и ждал чего-то неведомого. В школе пахло книгами, мокрым деревом и чем-то неуловимо новым — запахом, который появляется только в начале грядущих, ещё неразличимых перемен. Утренний свет проникал сквозь пыльные окна, окрашивая в блеклые тона карты и портрет Великого Кормчего.

Именно в такой день в школу пришла новая учительница. Она была не похожа на других: высокая, с прямой спиной, в простом сером платье, с тонкими, почти прозрачными руками. Её звали Мэй Линь.

Директор, невысокий человек с настороженным взглядом, представляя её, говорил о её «ценном опыте», полученном в Советском Союзе, где она провела «всё своё детство» и получила образование. Для директора этого было достаточно. Она говорила по-китайски без акцента,

но в её речи иногда проскальзывали странные, непривычные интонации, словно слова были взяты из другой, далёкой жизни. Но когда она произнесла первые русские слова, казалось, сам воздух наполнился прозрачным звоном — словно ручей, что долго искал свой путь к океану, вдруг нашел его и заговорил с тобой.

— Сегодня мы поговорим о великом русском поэте, — начала Мэй Линь, и её тон был удивительно лиричен, почти интимен. — Об Александре Сергеевиче Пушкине.

Она говорила о его стихах, полных света и печали, о его судьбе, оборванной так же внезапно, как и многие судьбы в этом мире. Класс молчал, замороженный её голосом, её акцентом, который, казалось, нёс в себе отзвуки далёких лесов и бескрайних полей.

Чэнь Ван сидел за третьей партой у окна, и его карандаш, вместо того чтобы записывать факты из биографии Пушкина, сам собой выводил на полях тетради тонкие линии — линии, похожие на ветви и тени. Он не слушал слов — он слушал звук её голоса, просто чувствуя её присутствие. Он был шестнадцатилетним мальчишкой, и весь его мир, такой понятный и предсказуемый до этой минуты, вдруг поплыл, закружился в водовороте неслышимой мелодии.

— Что ты там рисуешь, Чэнь Ван? — спросила она. В её голосе не было осуждения, лишь легкое любопытство. — Тебе не интересен Пушкин?

Он вздрогнул, закрыл тетрадь. Сосед по парте, Ли Чжун, усмехнулся:

— Он вас рисует, товарищ учительница.

В классе кто-то тихо засмеялся. Мэй Линь улыбнулась — не строго, а как-то по-доброму, чуть грустно.

— Лучше нарисуй Пушкина, — мягко сказала она. — Или хотя бы его музу. Это было бы гораздо полезнее для урока.

Чэнь Ван покраснел, но не отвёл взгляда.

— А почему вы рассказываете о царском поэте? — неожиданно вызываяще, даже для самого себя, спросил он. — Почему не о пролетарском — о Маяковском?

Мэй Линь чуть наклонила голову, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя. Она ответила не сразу, её взгляд ушел куда-то за окно, за серые крыши города. И казалось, её взгляд там задержался дольше, чем нужно. Как будто она искала там слова, которые должна сказать своим ученикам.

— Есть много прекрасных советских поэтов, Чэнь Ван, — тихо произнесла она, и в её голосе появилась та отстраненность, которая всегда отличала её от других. — И тех, кто писал о революции, и тех, кто писал о войне, и о простой человеческой душе... Иногда стихи — это не только о власти. Это о человеке. О том, что он чувствует, когда всё вокруг рушится.

Она повернулась к доске, написала несколько русских слов, а затем, словно повинувшись внутреннему порыву, открыла тетрадь и начала читать. Её голос изменился, стал глубже, почти молитвенным. Это были стихи, которые не звучали по радио, их не печатали в газетах. Это были слова, принесенные ею самой, словно осколки чужой, незаживающей раны.

*Взрывом прерванный сон,
Чья-то смерть, чей-то стон
— Повторяется...
Обгоревшая плоть, и земля, как качель
— Качается...
И нельзя отступить, и нельзя позабыть
— Не стирается...*

*Дома сгорели, улицы пусты,
И тишина гулка, как эхо взрыва.
Где были смех и дети — там кресты,
Где были жизни — лишь руины мира.*

*Но разве те, кто начал, видят это?
Они рисуют карты, делят города,
А мать рыдает по ребенку где-то,
И эта боль с ней будет навсегда.*

*Это называют «сопутствующим ущербом»,
Но слова не смягчат тяжесть боли.
Каждая цифра — это чьё-то имя,
Каждая смерть — новая лужа крови.*

*Здесь все герои — жертвы-палачи,
Здесь нет победы — только боль и слёзы.
Надежды свет в дыму войны молчит,
И гибнут здесь как люди, так и грёзы.*

*Под плачущим небом земля укрывает
Тех, кто безмолвно ушёл, не прощаясь,
Кто не хотел упасть на кровать из страданий,
отмеченную этой войной.
Кто считал эти слёзы, что падают в тишине,
Истории, что не успели случиться,
Жизни, которые уже не вернуть?*

*А что же те, ступившие за край?
Тонувшие, но выплывшие?
— Рай и ад познавшие,
За ту черту шагнувшие,
Где стал нечеловечен человек...*

*— Они молчат, они в душе мертвы.
Они мертвы.*

Когда стихотворение закончилось, в классе повисла тишина. Никто не знал, что сказать. Даже Ли Чжун не пошутил.

Звонок прозвенел неожиданно громко. Ученики начали собирать тетради, но никто не спешил выходить. Мэй Линь стояла у доски, глядя в окно, где по серым крышам стекали последние капли зимней влаги.

Чэнь Ван вышел последним. На лестнице он оглянулся: учительница всё ещё стояла у окна, и её силуэт казался ему частью другого мира — того, где стихи важнее лозунгов, а слова могут быть тяжелее камня.

По пути домой, по пыльным и пока ещё немногочисленным улицам, Чэнь Ван шёл, словно во сне. Мир вокруг был прежним – красные плакаты

на стенах, силуэты редких прохожих, знакомый запах уличной еды. Но внутри него что-то изменилось.

Я не знаю, как это случилось. Она заговорила — и воздух сразу стал другим, как будто кто-то открыл окно в другой город, где пахнет не углём, а снегом, где люди говорят на языке, который я только начинаю понимать. Я рисовал её, но это был не портрет, а попытка поймать тень, отблеск, отражение в луже после дождя. Она читала стихи, и каждое слово падало в меня, как капля воды на сухую землю. Я не знал, что можно говорить о войне так — не как о победе, а как о боли, о чужой боли. О боли, которая не проходит. Я хотел спросить, почему она грустит, почему её голос дрожит, когда она говорит о давно умерших поэтах. Но я промолчал. Я всегда молчу, когда хочется кричать. Я вышел на улицу, и дорога была пуста, как будто город вымер. Только вода капала с крыши, и в каждой капле было что-то от её голоса — тихое, упрямое, неотступное. Кап-кап. В детстве я боялся воды — не той, что в реке, а той, что капает с потолка, когда идёт дождь. Мама говорила: «Это дом плачет». Я думал: если дом плачет, значит, он живой. А если живой — значит, ему тоже больно. Кап-кап. Я шёл домой, и мне казалось, что я иду не по улице, а по тонкой нитке, натянутой между прошлым и будущим, между её глазами и моим страхом.

Вечерний ветер Пекина, тот самый, что скоро понесёт совсем иные, яростные крики, уже нес в себе отголоски непривычной мелодии, и Чэнь Ван, тогда ещё сам того не зная, вступил на новую, непонятную ему дорогу, которая не могла не привести его никуда, кроме как к ней, и к той печали, которая будет сопровождать его всю дальнейшую жизнь.

Глава вторая

На следующий день Чэнь Ван не пошел домой. Он задержался у школьных ворот, где дворник подметал прошлогодние листья, а двор медленно пустел, — он знал, что ему надо дождаться её.

Наконец, она появилась. Мэй Линь вышла последней, в том же сером платье, сжимая в тонких пальцах небольшую, неприметную сумочку. Её шаги были лёгкими, почти бесшумными, словно она

скользила, а не шла. В её глазах, таких глубоких, сегодня таилась ещё большая усталость. Казалось, она не удивилась, увидев его.

— Учительница Мэй Линь, — окликнул её Чэнь Ван, и его голос прозвучал выше, чем он ожидал. — Позвольте мне проводить вас до дома?

Она остановилась, её взгляд задержался на нём всего на мгновение — в нём не было осуждения, лишь та же странная, едва уловимая печаль, что он видел вчера.

— Спасибо, Чэнь Ван, — тихо произнесла она, и в её голосе звучала едва заметная, но несомненная отстранённость, как вода, что течёт мимо. — Но мне не по пути. Мне нужно ехать на другую работу — на Пекинский автомобильный.

Он кивнул, не зная, что сказать. А она уже шагала к остановке, и её фигура быстро растворилась в потоке прохожих и редких велосипедистов.

Да, Чэнь Ван не пошёл домой. Идти было некуда. Дом стал местом тишины и застывшей боли. Мама, пережившая ужасы Нанкина, теперь жила словно призрак — молчаливая, с глазами, в которых отражались лишь давно минувшие кошмары. После смерти отца, два года назад, она стала ещё более отрешённой, словно нить, связывающая её с миром, истончилась до предела. Она могла часами смотреть в стену, а её любовь к сыну была той тонкой, но прочной нитью, что всё ещё связывала её с реальностью. Сегодня, перед его уходом, она дала ему немного холодного риса и кусочек хлеба, завернув их в старую ткань. Она ничего не сказала, но её руки были внимательными, и как-то особенно нежными, словно она что-то знала.

Чэнь Ван свернул к старой Национальной библиотеке. Её тяжелые двери, повидавшие не одно поколение искателей истины и заблуждений, казались порталом в прошлое. Он надеялся найти там ответы, найти ключи к тому, как привлечь её внимание, как заговорить с ней на том языке, который она понимала — языке поэзии.

В библиотеке пахло старой бумагой и чем-то неуловимо древним, как сама история. Иногда ему казалось, что сквозь этот запах проступает что-то ещё — лёгкая, почти призрачная сладость цветущих слив, будто

когда-то, сотни лет назад, здесь был сад, и весенний ветер всё ещё помнит его. Ряды полок, уходящие в сумрак, казались бесконечными, словно они хранили в себе все сказанные и несказанные слова мира. Он бродил между ними, словно потерявшийся в лабиринте, иногда поглядывая себе под ноги — будто боялся наступить на забытую книгу или раздавить веточку сливы.

Всё то время, пока Чэнь Ван бродил между полок, библиотекарь не поднимала глаз, перелистывая страницы «Маленькой красной книжицы». Её губы беззвучно шевелились, будто она повторяла наизусть знакомые цитаты, и казалось, что даже здесь, среди книг, не было спасения от чужих слов.

Несмотря на небольшой тёплый весенний дождь, с улицы иногда доносились выкрики — глухие, как удары в стену:

— Да здравствует председатель Мао!

— Долой старое мышление!

— Ударим по штабам!

Вода капала с крыш, и редкие машины проезжали по полупустой дороге, оставляя за собой длинные, дрожащие отражения. Чэнь Ван смотрел на эти отражения и думал, что, может быть, вся его жизнь — это тоже отражение, тень, или полутень, которую он пытается поймать, но она ускользает, растворяясь в каплях воды и в словах, которые он не решается произнести вслух.

Я не знаю, зачем я ждал её. Может быть, чтобы услышать ещё раз, как она говорит моё имя. Может быть, чтобы идти рядом, даже если молча. Но она ушла — а я остался. Как всегда. На пороге. Между домом и улицей. Между прошлым и будущим. Мама смотрит в окно, как будто ждёт отца, хотя знает, что он не вернётся. Я тоже кого-то жду, только не знаю — кого. В библиотеке пахнет пылью и чужими жизнями. Я ищу её в книгах, в стихах, в чужих строчках, но нахожу только себя — другого, чужого, не того, кем был вчера. Что я нашёл? Только страницы, исписанные чужими мечтами, чужими словами. Всё пусто. Как эта дорога, по которой она уехала, оставив за собой лишь рябь на воде. Моя рука скользит по корешкам. Где ты? Где слова, которые станут моим мостом? Где стихи, что заставят её

посмотреть на меня не как на мальчика, а как на равного? Каждая книга — это капля, упавшая в бездну, и я тону, тону в этой бездне. Я — не я. Я — всего лишь отражение в этой бездне. А она... она ушла. Ушла на завод. Там железо. Там шум. Там не бывает стихов. А здесь? Здесь тоже нет. Только пустота.

Он не нашел ничего нового в тот вечер, ничего такого, что могло бы стать его оружием в этой невидимой битве. Но именно тогда, именно там, среди пыли и старых книг, в его голове, появились эти строки *«я весь в тебе, я весь с тобой, всё предначертано судьбой, как будто я совсем другой, как будто я совсем чужой, но ведь и ты уже не та...»*. Они были нечеткими, словно набросок, но уже несли в себе ту печаль и предопределенность, которая спустя много лет сложится в полноценное стихотворение.

Глава третья

Автобус, медленно ползущий по грязной, ухабистой дороге, казалось, нёс Мэй Линь в другой мир.

От Пекинского автомобильного завода, где налаживали производство грузовиков для китайской народной армии, веяло совсем иным духом, чем от старых школьных стен. Здесь было шумно и грязно, воздух дрожал от грохота машин, металлический лязг сливался с резкими ударами, а едкий запах машинного масла и горячего металла оседал на всём. Это был мир, не знавший русской поэзии, мир, который неизбежно шёл навстречу своему железному будущему. Дорога к заводу была шире городских улиц, но такая же неровная, покрытая колдобинами, по которым скакали редкие грузовики и старые автобусы.

Мэй Линь спустилась по ступенькам, вдохнув этот чужой, индустриальный воздух. Её тонкое серое платье казалось неуместным среди рабочих комбинезонов и сброшенных на плечи курток. Она привыкла к чистоте и тишине классов, но этот завод был её второй жизнью, необходимой, как второе дыхание.

Его кабинет располагался в небольшом, но крепком здании, построенном в советском стиле, что выделялось своей массивностью на фоне китайских построек. Дверь кабинета была приоткрыта. Он сидел за

большим столом, заваленным бумагами и чертежами, его взгляд был прикован к какому-то чертежу двигателя. Сергей Морозов. Военный атташе. Крупный, почти грузный человек лет тридцати пяти, с плотно сжатыми губами и взглядом, привыкшим к приказам. От него пахло табаком и чем-то, что Мэй часто ассоциировала с другой родиной — может быть, запахом далёких сосновых лесов или просто воздуха, который был чужим для этого закопченного углём неба.

Морозов поднял взгляд от бумаг, когда услышал лёгкий шорох, и увидел её. Мэй Линь стояла в дверном проеме, её серое платье словно светилось в тусклом свете кабинета.

Опоздала. Как всегда. Эти китайцы — пунктуальность у них, как у наших грузчиков на разгрузке: если пришёл — уже праздник. А эта... хоть бы раз по-людски, по-советски, с опозданием на пять минут, а не на полчаса. Нет, у них тут всё по-своему. Ладно, хоть не с опозданием на неделю. Вот бы мою Сашу сюда — она бы им показала, что такое дисциплина. Или, может, наоборот, сама бы сбежала через неделю. Эта чертова школа. Знал же, что она придёт, как солнце садится за горизонт — неизбежно. Эти китайцы. Словно вчерашний сон — вечно что-то недосказанное, полупрозрачное. Нужен переводчик. И не просто переводчик. А она. Её акцент, её знание. Китайцы болтают, как воробьи, а эта... Она умеет слушать. Умеет молчать. А это здесь ценится. Поди, найди такую — чтобы и умница, и из хорошей семьи (по местным меркам), и русский знает в совершенстве.

— Опять опаздываешь, товарищ Мэй, — произнес он, и в его голосе сквозила раздраженность, но без злобы, потому что её опоздание было привычным. Он перешел на русский, язык, который был для него родным, а для неё — языком её детства. — Ты же знаешь, мне нужен переводчик целый день. Этот китайский... Чёрт его знает, как вы на нём разговариваете. А по разговорнику общаться с местными — что по стене молотком стучать.

Мэй Линь чуть опустила голову, привычно принимая его недовольство.

— Простите, Сергей Петрович. Но у меня утром уроки в школе. Я же говорила вам.

Школа. Что за блажь. Вот уж нашла чему радоваться. Какая-то там школа. В этом Пекине, где грязь забивается под ногти, а каждый второй с голодухи мечтает о миске риса. Будто не понимает, что её место здесь, рядом с теми, кто двигает прогресс. Впрочем, пусть тешится... Моя Александра. Саша. В Свердловске. Она бы такого не поняла. Работа — это работа. Долг — это долг. А эта... такая хрупкая, словно фарфоровая статуэтка, которую привезли сюда из другого времени. И почему-то она здесь. В моём кабинете. Вот так.

— В школе? — Морозов, наконец, поднял на неё взгляд. Его глаза, светлые и пронзительные, внимательно оглядели её, словно он видел её впервые. — Зачем тебе эта школа? С детьми возиться? Тут дело государственное. Ты нужна здесь, а не там.

— Мне очень нравится работать с детьми, — тихо ответила Мэй Линь, и в её голосе, к её собственному удивлению, прозвучала едва уловимая нотка искренности. Морозов отвернулся, хмыкнув.

Боже мой. Идеалистка. Наверное, поэтому и вернулась в эту дыру. Он-то помнил: в Союзе ей жилось бы куда лучше. Тепло, пайка, квартиры. А здесь? Этот Пекин, этот воздух, пропитанный пылью и обещаниями, которые никогда не сбудутся. Город, словно старая рана, что никак не затянется. Всё это послевоенное время, японцы, гоминьдан, гражданская война как вода, которая течёт, течёт, и оставляет за собой лишь ил и грязь. А его Саша? Она в Свердловске. Там снег. Там холод. Там дети. Долг. Ответственность. Всё понятно. Всё ясно. А здесь... Здесь всё непонятно. Всё чужое. Кроме неё. Она как островок, странный, невесомый, но такой нужный здесь. Не то, чтобы он её любил. Нет. Любовь это для других. Это для жены. Это для детей. А эта... Она просто была здесь. И должна была быть здесь. Так уж получилось.

— Слушай, Линь, — сказал он, повернувшись к ней, и в его голосе теперь не было раздражения, лишь странное, почти личное любопытство, прикрывающее расчет. — Почему ты вообще не осталась в Союзе? Родилась там, выросла, получила образование... Вернулась в эту... разруху.

Мэй Линь посмотрела на него долгим, печальным взглядом.

— Мои родители всегда хотели вернуться, Сергей Петрович. Они ждали этого. Когда Гоминьдан ушел с материка, они решили, что это время пришло. Время возвращаться на Родину. Здесь их корни. Сейчас они преподают в Пекинском университете. Может быть, и я когда-нибудь уйду из школы и буду преподавать там.

Она произнесла это с какой-то отстраненной надеждой, словно университет был для неё не просто местом, а далёкой, недостижимой гаванью. Морозов кивнул, не говоря ничего. В его памяти всплыли лица рабочих — серые, усталые, с глазами, в которых давно погас огонь. Он сам стал таким же. Он ненавидел этот запах мазута, но скрывал — офицеру не пристало жаловаться. А всё, что было когда-то важным, осталось там, за Уралом, в другой жизни. Здесь он был только военным специалистом, только чужаком, только человеком, который не может выучить язык.

Мэй Линь смотрела на него, и ей казалось, что он — не он, а огромный, серый камень, принесенный сюда неведомым течением. И она — она должна быть рядом с этим камнем.

Завод. Железо. Ржавчина. Всё скрипит, всё гудит. Это не школа. Здесь нет Пушкина, Блока, Пастернака. Здесь нет его муз. Здесь нет моих муз. Здесь есть только приказ. И он. Морозов. Его запах — не запах человека, а запах чужой земли. СССР, Урал. Там его семья. Его жизнь. А я? Моя жизнь — это что? Книги. Ученики. И вот это. Это — цена. Цена за воздух, которым я дышу. Цена за то, что меня не трогают, пока. Он — мой защитник. Мой палач. Мой корабль, который обречен плыть по этим мутным водам. Родители. Родина. Все эти слова. Они как осколки. Осколки зеркала, в котором я пытаюсь увидеть себя, но вижу только чужие отражения. Я говорю о детях, думаю об их чистоте. Но я сама — я чиста? Или я тоже уже покрылась пылью, как старая книга? Или это грязная вода, что течёт по улице, смывает с меня что-то? Нет. Она не смывает. Она оставляет след. След на моей душе. Я знаю. Отец говорит: «Наш долг — строить новый Китай, даже если он сломает нас». Но когда я вижу его согбенную спину над лекциями, мне хочется кричать.

А за стеной, за мутными окнами, завод дышал и стонал, как огромный зверь, которому не было дела ни до Мэй, ни до Морозова: у него были свои заботы, свои ритмы, своя бесконечная, равнодушная работа.

Глава четвертая

Лето того года было жарким и беспокойным, как будто город сам не знал, что с ним будет завтра. По радио читали дацзыбао, сочинённое Не Юаньцзы, и слова эти были как удары — каждый знал: сегодня могут прийти за тобой. Одноклассники Чэнь Вана уже не смеялись, а шептались, переглядывались, и даже угрожали:

— Всё расскажем секретарю партии. Ты защищаешь свою учительницу? Она такой же враг, как и все эти профессора.

Он молчал.

В тот день они пришли с плакатами к Пекинскому университету — против «монстров и демонов», против тех, кто не поддерживает Кормчего. Толпа была шумной, лица — чужими, крики — одинаковыми. И вдруг он увидел её.

Мэй Линь стояла у входа в университет, рядом с родителями. Она была бледная, как бумага, и держала отца за руку. Её глаза были полны ужаса, и она посмотрела прямо на него — взглядом, в котором было всё: и страх, и прощание, и немой вопрос, и что-то похожее на упрёк. В какой-то момент она чуть качнула головой, как будто хотела сказать: «Не надо. Не иди за ними. Не становись одним из них». Но слова не прозвучали — только этот едва заметный жест, только дрожащие губы, только стиснутые пальцы.

В тот миг всё вокруг исчезло: не было ни толпы, ни криков, ни плакатов. Только она. Он хотел подойти, сказать что-то, но не смог. Его ноги приросли к земле, а голос утонул в гуле толпы. И он не смог отвести взгляд. И он не смог уйти.

А потом всё завертелось:

— Вперёд! — кричали хунвейбины.

— Долой старое мышление!

— Да здравствует председатель Мао!

Они сжигали костюмы и декорации пекинской оперы, разбирали на кирпичи Великую стену, строили свинарники, ездили в агитационных поездах, протестовали в Ухане и Гуйлине. Но всё это было потом, и всё это было уже неважно. Потому что именно тогда, на площади, он понял: их жизни разошлись навсегда, и никакие слова, никакие поступки не смогут этого изменить. Но тогда, на площади у университета, он встретил её в последний раз.

И именно тогда, в тот день, когда всё вокруг рушилось, а он стоял в толпе, не в силах сделать ни шагу, не сказать ни слова, — именно тогда в нём родились новые строки. Строки стихотворения, которые он продолжит писать в ту ночь, а закончит лишь много лет спустя, уже другим человеком, уже не мальчиком, — учителем, в той же школе, в том же классе, где впервые услышал её голос:

*но ведь и ты уже не та
и потемнела та рука
что нежно гладила меня
когда на близких несмотря
ты подарила мне себя
но знаю я настанет день
когда меня заменит тень
когда укроют всё снега
и только луч издалека
нежданно вдруг найдет тебя
и снова ты пойдешь туда
и снова ты найдешь меня*

Он не знал тогда, что эти слова станут его единственной памятью о ней, что всё остальное будет стёрто временем, страхом, чужими призраками. Он не знал, что впереди — только потери, только серые лица, только долгие годы, в которых не будет ни прощения, ни возвращения.

И в этот день, среди криков и толпы, он впервые почувствовал: всё уже случилось, всё уже написано, и изменить уже ничего нельзя. Новый спектакль не начнётся — роли сыграны, костюмы сгорели, сцена пуста. И только в памяти, как эхо, ещё долго будет звучать её имя.

Мэй Линь.

Часть вторая

Глава первая

Пекин стал другим. Город, который когда-то казался Мэй Линь бесконечно большим и шумным, теперь сжался до размеров одной комнаты, одного окна, одного взгляда в пустоту. Она больше не ходила в школу — её уволили без объяснений, просто перестали пускать за ворота. На доске объявлений, где раньше висели расписания и стихи, теперь были только списки врагов народа и новые лозунги.

Родителей выгнали из университета. Их книги, рукописи, фотографии выбросили во двор, как мусор. Отец молчал, мать плакала по ночам, уткнувшись в свой старый платок, а Мэй Линь стала единственной, кто приносил в дом хоть какие-то деньги. Она по-прежнему работала переводчицей на заводе, где всё стало для неё обыденным: язык, запахи, люди, даже воздух. Но иногда ей казалось, что она живёт не свою жизнь, а чью-то чужую, случайно надетую, как старое пальто в раздевалке театра.

Вечерами она сидела у окна, смотрела на улицу, где редкие прохожие спешили домой, и думала о Чэнь Ване. Она не знала, что с ним стало. После разгрома хунвейбинов его имя исчезло из разговоров, как будто его никогда не было. Иногда ей казалось, что она придумала его — мальчика с настороженным взглядом, который рисовал её на полях тетради и не умел скрывать своих чувств. Она вспоминала его вопросы, его смущение, его молчание. Вспоминала — и не знала, зачем.

Их дом, казалось, был пропитан бедностью и страхом. Мать всё чаще говорила шёпотом, отец подолгу не выходил из комнаты. На стене висел портрет Кормчего, и его глаза следили за каждым движением, за каждым словом. Мэй научилась говорить только то, что нужно, и только тогда, когда нужно. Она научилась быть тенью.

В эти дни начался конфликт на границе. По радио говорили о врагах, о предателях, о том, что СССР — больше не друг, а враг, что во всём виноваты советские ревизионисты. В новостях для советских специалистов остров называли Даманским, а для китайцев — Чжэньбао

дао. Даже в этом — разлом, трещина, невозможность договориться о самом названии земли, где теперь стреляют.

Мэй Линь слушала эти новости и не могла понять: как так, — страна, в которой выросли её родители, в которой она прожила уже несколько лет, и страна, где она родилась, теперь враги? Где её дом? Где её родина? Она чувствовала себя расколотой надвое, как дерево, в которое ударила молния.

Сергей Морозов тоже слушал радио и ждал приказа. Для него это был Даманский — маленький клочок земли, который вдруг стал границей между прошлым и будущим. Для неё — Чжэньбао дао, остров, имя которого теперь звучало как-то иначе — будто сама память разделилась на две половинки.

Вечерами, за закрытой дверью, они говорили о погоде, о работе, и даже о том, о чём нельзя было сказать вслух. Иногда он смотрел на неё и думал: как странно устроена жизнь — иногда ближе всего оказывается тот, с кем нельзя быть рядом.

Его семья — жена, дети — остались далеко, в России, на Урале, в Свердловске. Их лица всё чаще всплывали в памяти как старые фотографии: чуть выцветшие, с уголками, загнутыми временем. Он знал, что должен скучать по ним, но всё чаще ловил себя на мысли: когда придёт приказ уезжать, он будет скучать, сильно скучать. Но по-другому. Он будет скучать по этой стране, по этим разговорам с Линь, по её голосу, который стал для него единственным настоящим в этом до сих пор чуждом мире. И даже по надоевшему заводу, где всё было не так, как дома. Всё это станет прошлым, и, возможно, самым настоящим в его жизни.

Однажды вечером, когда за окнами завода уже сгущались сумерки, они сидели в его кабинете. Морозов молча курил, глядя в мутное стекло, а Мэй Линь перебирала бумаги, делая вид, что читает.

— Ты слышала? — наконец сказал он, не оборачиваясь. — На Даманском опять стреляли. Наших 8 человек убили.

Она медленно подняла голову, не сразу поняв, о чём он.

— На Чжэньбао дао, — тихо поправила она. — Это остров Чжэньбао.

Он усмехнулся, но в этом смехе не было ни радости, ни злости — только усталость.

— Для нас он всегда был Даманским.

— А для нас — всегда Чжэньбао дао, — ответила она, и в голосе её прозвучала какая-то новая, не знакомая ему твёрдость.

Они замолчали. За стеной гудел завод, равнодушный к их разговорам, к их страхам, к их разным словам.

— Странно, — сказал Морозов, — как будто даже названия теперь воюют друг с другом.

— Не только названия, — прошептала Мэй. — Всё воет. Даже память.

Он посмотрел на неё — долго, внимательно, как будто видел впервые.

— Ты ведь не веришь, что всё это закончится?

Она покачала головой.

— Нет. Я думаю, это только начало.

Он хотел что-то сказать, но не нашёл слов. Она тоже молчала. В этот вечер между ними было больше тишины, чем когда-либо прежде.

Когда Мэй Линь возвращалась домой, улицы казались ей ещё более пустыми, чем обычно. В подъезде пахло сыростью и чужими жизнями. Мать, как всегда, сидела у окна, отец не выходил из комнаты. Она тихо прошла на кухню, налила себе воды, присела на табурет.

Я не знаю, где мой дом. Я не знаю, кто я. Я — между двумя странами, между двумя языками, между Даманским и Чжэньбао дао, между прошлым и будущим. Я — как вода, что течёт по трещинам, не зная, где остановиться. Я — как письмо, которое не доходит до адресата. Я — как призрак, которого никто не замечает... Иногда мне кажется, что всё это — сон. Что я проснусь, и всё будет как раньше: школа, книги, детский смех, весенний дождь за окном. Но я не просыпаюсь. Я только слушаю, как капает вода в раковине, как стучат

поезда за окном, как кто-то шепчет в темноте: «Не говори. Не спрашивай. Забудь».

Тем временем, ночь за окном сгустилась до такой степени, что уже невозможно было различить, где кончается одна страна и начинается другая.

Глава вторая

В тот вечер Пекин был особенно серым. Воздух стоял неподвижно, как будто город затаил дыхание, ожидая чего-то, что уже не могло не случиться.

Морозов вёз Мэй Линь домой — в последний раз. Машина ехала медленно по пустой дороге, где не было ни людей, ни звуков, только редкие фонари, освещавшие лужи и обрывки старых газет.

В салоне пахло табаком и чем-то ещё — чем-то, что всегда оставалось между ними, неуловимым, как память о чужой стране. Они почти не разговаривали. Всё, что можно было сказать, уже было сказано. Всё, что нельзя — осталось внутри.

— Ты могла бы уехать со мной, — тихо сказал Морозов, не глядя на неё. — В Союзе тебе было бы легче. Я помог бы. Всё равно меня выдворяют. Персона нон грата. Даже звучит не по-человечески.

— Я не могу, — ответила она. — У меня здесь родители. Я не могу их бросить.

Он кивнул, не споря. Он знал, что это правда. И знал, что спорить бессмысленно.

Они ехали дальше, и город за окном казался чужим, как будто они оба уже были не здесь, а где-то в другом времени, в другой жизни.

— Останови, пожалуйста, — вдруг сказала Мэй Линь, когда они проезжали мимо пустыря, где когда-то строили новый квартал, а теперь остались только бетонные плиты и ржавые арматуры. — Я дойду сама.

Морозов остановил машину. Она открыла дверь, вышла, не оборачиваясь. Он смотрел, как она идёт по пустырю, маленькая, хрупкая,

почти прозрачная в свете фар. Потом она остановилась, и он понял: она ждёт, пока он уедет.

Он медленно тронулся с места, не оглядываясь, не зная, увидит ли её ещё когда-нибудь. В зеркале заднего вида её уже не было видно — только темнота и пустота.

Мэй Линь стояла посреди пустыря. Вокруг не было ни одного окна, ни одного человека, только чёрное небо, без единой звезды, и только редкие огоньки на горизонте. Она стояла, слушая, как уходит машина, как уходит всё, что было её жизнью.

Внутри было пусто. Ни страха, ни слёз, ни надежды. Только тишина, похожая на смерть.

И вдруг она закричала.

Крик вырвался из неё неожиданно — резкий, хриплый, чужой. Она кричала так, как никогда не кричала в жизни. Кричала в чёрное небо, в бетон, в пустоту, в саму себя. Кричала за все годы, за все слова, за всё, что не сказала, за всё, что не сделала, за всё, что не смогла спасти.

Крик был долгим, отчаянным, почти звериным. Он не был похож на голос человека — скорее на голос того, кто больше не может быть человеком.

А потом она замолчала.

Тишина вернулась, ещё более глухая, чем прежде. Мэй Линь стояла, тяжело дыша, и смотрела в чёрное, безмолвное небо, где по-прежнему не было ни одной звезды.

И только где-то далеко, в глубине города, по-прежнему капала вода — будто время всё ещё не решило, куда ему течь дальше.

Глава третья

Поезд шёл на запад, сквозь бескрайнюю Сибирь, где лес сменялся лесом, и казалось — здесь больше ничего нет и не будет.

Морозов стоял у окна, курил, смотрел, в надежде, что увидит хоть какой-нибудь признак человеческой жизни. В купе пахло табаком,

прокисшей икрой, железом и чем-то ещё — тоской, что ли, или просто усталостью.

Он думал о Мэй Линь. О том, как она стояла на пустыре, не обернулась, не попрощалась, только сказала: «Я дойду сама». Увидит ли он её ещё когда-нибудь? Вряд ли. Персона нон грата — вот так теперь называлось его положение. Слово-то какое, подумал он, будто клеймо на лбу. Персона нон грата. Даже звучит не по-русски. Выдворенец.

В соседнем купе кто-то напевал дурацкую частушку:

*Остров Даманский — Чжэньбао-дао,
Мир, изранен войной и Мао.
Остров Даманский — теперь Чжэньбао,
Товарищ Мао там пьет какао.*

Он затушил сигарету, посмотрел на свои руки — чужие, как будто не его. Вспомнил, как Линь смотрела на него в последний раз — спокойно, почти безжизненно. Как будто внутри у неё уже всё выгорело.

И вдруг — на фоне сибирских сумерек, — память выхватила совсем другой, почти забытый эпизод.

Пекин. Лето. Жара, от которой мутнеет воздух. Он впервые увидел её в кабинете директора — молодая, с прямой спиной, в простом тёмном платье, с тонкими, почти прозрачными руками. Она улыбнулась ему — не ему, а всем сразу, но он почему-то решил, что только ему.

Тогда всё казалось простым: документы, инструкции, чертежи, — и вдруг этот голос, мягкий, с лёгким акцентом, и взгляд, в котором было что-то неуловимо родное.

Он вспомнил, как она поправила прядь волос, как смотрела на него, когда переводила очередную фразу, как будто между строк было что-то ещё, что-то, что нельзя было сказать вслух.

Воспоминание было коротким, как вспышка, но от него стало ещё холоднее. Всё, что было тогда — живое, настоящее, — теперь осталось где-то там, за тысячами километров, за Амуром, за границей, которую уже не пересечь.

В купе было душно. Он вышел в коридор, прошёл по вагону, где кто-то уже храпел, кто-то тихо спорил о политике, упоминая почти шепотом Брежнева и Прагу, а кто-то пил водку из алюминиевых кружек.

— Мужики, можно к вам? — спросил он, и никто не возразил.

— За что пьём? — спросил кто-то.

— За возвращение, — сказал Морозов. — За Родину. За то, что меня выдворили из Китая.

— Персона нон грата, — добавил он, и все засмеялись, не понимая, что в этом смешного.

Он налил себе, выпил, закусил хлебом.

— А у меня жена — Соколова до замужества была, — вдруг сказал он, — но Морозова для Урала лучше подходит.

— Соколова? — переспросил кто-то. — Хорошая фамилия.

— Хорошая, — согласился Морозов. — Но Морозова — крепче. Для зимы, для Сибири, для всего этого.

Он выпил, посмотрел в окно, где отражался только он сам, и добавил, будто между делом:

— А ещё мне тут звание присвоили. Полковник. Вот так. Теперь, может, снова в командировку отправят. Куда-нибудь, где тепло. В Колумбию, например.

— В Колумбию? — засмеялись соседи. — Вот это да!

— А что, — сказал Морозов, — там, говорят, какао все пьют. И кофе хороший. Полковником, наверное, там будет легче.

Они пили ещё, говорили о жизни, о женах, о детях, о том, как всё меняется и ничего не меняется. Морозов слушал, кивал, смотрел в окно, где отражался только он сам — усталый, чужой, с новым званием и старой тоской.

А поезд шёл всё дальше и дальше, а ночь за окном была такой же бескрайней, как и дорога, по которой он возвращался домой.

Иногда ему казалось, что он уже не человек, а просто пассажир между станциями, между странами, между прошлым и будущим. Всё, что было настоящим, осталось там, где теперь никто не ждёт звонка от полковника.

И только где-то в темноте, за стеклом, иногда мелькала река — чёрная, как память, и такая же холодная.

Глава четвертая

Много лет спустя, когда новые кварталы Пекина выросли на месте старых пустырей, Сергей Морозов вернулся в этот город уже с дипломатическим паспортом, с сединой на висках и усталостью в глазах, которую не могли скрыть ни форма, ни улыбка.

Он возвращался не за орденами и не за воспоминаниями — он возвращался за тем, что было потеряно, за тем, что не имело имени, но не отпускало его ни в Свердловске, ни в Варшаве, ни в долгих снах, где всё ещё пахло жасмином и пылью.

Пекин встретил его иначе. Город был другим: улицы стали шире, машины — громче, а небо — ниже. Старые дома исчезли, как исчезают сны, когда просыпаешься слишком рано. На месте завода, где когда-то пахло железом и машинным маслом, теперь стоял торговый центр с зеркальными витринами. Никто не помнил, что здесь когда-то строили грузовики для армии, никто не помнил ни его, ни её.

Он ходил по этим улицам, как по лабиринту, в котором все выходы давно замурованы. Он спрашивал в посольстве, в архиве, в старой библиотеке, где когда-то пахло пылью и чужими жизнями. Он искал её имя в списках, в телефонных книгах, в пожелтевших документах, но находил только пустые строки, только чужие лица, только равнодушие.

— Мэй Линь? — переспросила молодая сотрудница в библиотеке, не поднимая глаз от компьютера. — Нет, такой у нас не числится. Может быть, вы ошиблись с именем?

Он пытался найти хоть кого-то, кто помнил бы её — учительницу русского языка, переводчицу, женщину с тонкими руками и тихим

голосом. Но все, кто мог бы помнить, уже уехали, умерли, исчезли, растворились в потоке времени, как капли дождя на асфальте.

Иногда ему казалось, что он ищет не человека, а тень, не имя, а эхо. Он заходил в старую школу, где когда-то пахло мелом и детскими голосами, и смотрел на пустые классы, где теперь висели новые портреты, новые лозунги, новые правила. Он стоял у окна, смотрел на двор, где когда-то цвели сливы, догадываясь: всё, что было, ушло. Всё, что было, не вернётся.

Вечерами он сидел в гостиничном номере, пил чай, смотрел на городские огни и думал, что, может быть, всё это ему только приснилось. Может быть, не было никакой Мэй Линь, не было их вечерних разговоров, не было пустыря. Может быть, всё это — просто старая фотография, которую кто-то забыл в чужом чемодане.

В один из вечеров, когда город уже начал светиться неонам, Морозов всё-таки нашёл одного из старых знакомых — Лао Чжана, бывшего инженера с завода, где когда-то они работали. Чжан постарел, стал сутулым, говорил медленно, с долгими паузами, будто каждое слово нужно было вытащить из глубины памяти.

— Мэй Линь? — переспросил он, задумчиво глядя в чашку чая. — Да, помню такую. Тихая была, всегда с книгой. После того, как вас выслали, её тоже больше не видели. Говорили, что родители её куда-то увезли, а потом... — он пожал плечами. — Тогда многих увозили. Много забывается, товарищ полковник. Всё меняется.

Они сидели в маленькой чайной, где пахло жасмином и старым деревом. За окном шёл дождь, и капли стекали по мутному стеклу, как слёзы по чужому лицу.

— Всё меняется, — повторил Морозов. — Только чай остаётся прежним.

Он кивнул, не зная, что ещё сказать. Он смотрел на руки Лао Чжана — такие же старые, как и его собственные, — и думал, что, может быть, всё это действительно было давно, в другой жизни, в другой стране, в другом городе.

В ту ночь ему приснился сон.

Он снова был молодым, снова стоял у входа в какую-то старую школу, где пахло мелом и дождём. В коридоре звучал её голос — тихий, как шёпот, и он не мог разобрать ни слова. Он шёл по пустым коридорам, искал её, звал по имени, но вместо ответа слышал только шорох листьев, падающих где-то в темноте. Он открыл дверь в класс — и увидел, что за партами сидят только тени, а на доске кто-то написал чьё-то имя, но прочитать его было невозможно — буквы были размыты дождём.

Он проснулся на рассвете, когда город ещё спал, и долго смотрел в потолок, пытаясь вспомнить, что было сном, а что — жизнью.

Всё, что было, ушло. Всё, что было, не вернётся.

И только дождь за окном продолжал моросить.

Часть третья

Глава первая

В тот год весна пришла в Запретный город рано. Дворцы были наполнены запахом влажной земли и старых лаков, а в прудах отражались выцветшие небеса.

Император, чьё имя давно забыто, но чьи указы всё ещё хранятся в шелковых свитках, принимал новую наложницу.

Её привели в зал, где стены были расписаны журавлями и соснами, а полы скользили под ногами, как вода. Она шла медленно, не поднимая глаз, в платье из тончайшего корейского шёлка, цвета молодой листвы. На её запястьях звенели браслеты, и этот звук был единственным, что нарушало тишину.

Слуги и евнухи стояли вдоль стен, не двигаясь. В их взглядах не было ни любопытства, ни жалости. Всё происходящее было частью ритуала, который повторялся из века в век.

— Говорят, она из Корё, — шептались служанки в коридоре, пряча улыбки за рукавами. — У неё странное имя, не по-нашему.

— Ён Джу, — уточнил старший евнух, — по-китайски это значит Прекрасная Мелодия.

— Прекрасная Мелодия... — повторила молодая служанка, будто пробуя на вкус инородное слово. — Императору понравится.

— Императору нравится всё, что новое, — заметил другой евнух. — Но новое быстро становится старым.

Император сидел на троне из нефрита, массивном и холодном, с резными драконами, чьи глаза были инкрустированы яшмой. Его одежда была из бордового шёлка, расшитого золотыми облаками и фениксами. Его лицо было спокойным, почти безмятежным, но в глазах отражался интерес — не к женщине, а к тому, как она держит голову, как ступает, как не смотрит на него.

Она остановилась у подножия трона, поклонилась — медленно, с достоинством, как учили в далёком Кэсоне. В этом поклоне не было страха, или покорства, только выученная грация.

По знаку императора слуга поднёс поднос с чайником и двумя фарфоровыми чашками, расписанными синими облаками. Ён Джу, не поднимая глаз, изящно взяла чайник, и её тонкие пальцы, украшенные серебряными кольцами, двигались так плавно, что казалось — она не наливает чай, а играет на невидимом инструменте. Она подала чашку императору, склонившись чуть ниже, чем требовал этикет, и в этот момент придворные, наблюдавшие за церемонией, затаили дыхание.

В её движениях не было ни спешки, ни суеты — только безупречная точность и красота. Фарфоровая чашка в её руках казалась продолжением её самой: хрупкой, безупречной, почти нереальной. Она напоминала фарфоровую куклу, созданную не для жизни, а для созерцания.

Император взял чашку, не сводя с неё взгляда. В зале повисла тишина, в которой слышно было, как капает вода в саду за стеной.

— Она так красива, — прошептала одна из старших служанок, когда девушку увели в её новые покои. — Но красота — это только начало. — Красота недолговечна, — пробурчал евнух.

В тот вечер, когда солнце садилось за крыши дворца, в покоях императрицы зажгли свечи. Имя новой наложницы обсуждали вполголоса, как обсуждают перемену ветра или новый сорт чая. Никто не знал, как сложится её судьба, но все понимали: в этом дворце всё решают не слова, а молчание.

Глава вторая

В летние месяцы, когда в саду за дворцом распускались лотосы, Ён Джу часто видели на каменных дорожках между прудами.

Она шла медленно, в платье из тончайшего шёлка, цвета утренней дымки, и каждый её шаг был выверен, как движение в танце. Иногда она останавливалась у старой сливы, осторожно касалась лепестков, будто

проверяя, не сон ли это. Её пальцы были тонкими, почти прозрачными, и в их движении было что-то от фарфоровой куклы, которую боятся уронить.

Иногда она поправляла выбившуюся прядь волос — жестом, в котором не было ни кокетства, ни суеты, только привычная забота о порядке. Придворные замечали: когда она делала это, на её лице появлялась едва заметная улыбка, как у человека, который помнит что-то только ему известное.

Император приходил в сад по вечерам. Его сопровождали евнухи и стража, но, войдя в сад, он оставался один. Он смотрел, как Ён Джу наливает ему чай — так же безупречно, как в день их знакомства, — и как она, не поднимая глаз, подаёт чашку, склонившись чуть ниже, чем требует этикет. В её движениях не было ни страха, ни спешки, только точность и красота.

Император принимал чашку обеими руками, задерживал взгляд на её пальцах, на изгибе запястья, на тонкой линии шеи. Иногда он задерживал дыхание, будто боялся спугнуть хрупкое равновесие этого мгновения. Он не говорил лишних слов, но в его лице появлялась мягкость, которую редко замечали придворные. Иногда он медленно кивал, будто соглашаясь с чем-то только ему ведомым.

Слуги и служанки, стоявшие в тени, говорили между собой:

— Император стал тише, и стал чаще бывать в саду, — шептались в коридорах. — Он слушает, как она говорит, как будто в её голосе есть что-то, чего нет ни у кого.

— Он улыбается, когда она подаёт ему чай, — замечал старший евнух. — Это редкость.

— Говорят, он стал дольше задерживаться в саду, — добавляла служанка. — Иногда они просто молчат, и всё равно понятно, что он не хочет уходить.

— Она не задаёт лишних вопросов, — шептала одна из старших служанок. — Это мудро.

В саду, среди лотосов и камней, Ён Джу продолжала свой медленный танец. Она трогала цветы, поправляла волосы, смотрела на

воду, в которой отражались облака и крыши дворца. Император наблюдал за ней, не вмешиваясь, как наблюдают за редкой птицей или за игрой света на поверхности воды. В его взгляде не было ни страсти, ни тревоги — только тихое восхищение и покой, который редко посещал его сердце.

Вечерами, когда солнце садилось за стены Запретного города, в саду становилось тихо. Только шелест шёлка, только лёгкий звон браслетов на её запястьях, только отражение луны в воде — и ни одного слова, которое могло бы изменить порядок вещей.

— Говорят, она ждёт ребёнка, — тем временем перешёптывались в коридорах. — Императрица не рада. — Императрица никогда не бывает рада, — отвечал кто-то. — Но она умеет ждать.

В покоях императрицы это известие встретили молчанием. Императрица не меняла выражения лица, но в тот же вечер велела заменить всех служанок в покоях наложницы.

Глава третья

В тот день, когда всё началось, в саду было особенно тихо. Воздух стоял неподвижно, и даже птицы казались осторожнее обычного.

Ён Джу, проходя вдоль аллеи, случайно задела рукавом ветку цветущей сливы. Ветка сломалась почти беззвучно, и несколько белых лепестков упали ей на плечо и в волосы. Она остановилась, посмотрела на сломанный побег, но не попыталась его поднять. Служанки, наблюдавшие издали, переглянулись: в их мире такие знаки не оставались незамеченными.

— Это дурной знак, — прошептала одна из старших служанок, поправляя складки своего тёмного халата.

— В прошлом году, когда умерла старая наложница, тоже сломалась ветка, — ответила другая, молодая, с лицом, ещё не знавшим морщин.

— Всё возвращается, — добавил евнух, проходя мимо, и его голос был почти не слышен.

В тот же вечер император почувствовал слабость. Его лицо стало бледнее, движения — медленнее. Врачи приходили один за другим, принося с собой коробочки с порошками и свёртки с травами. В покоях пахло жжёным ладаном и горькими настоями. Император лежал на нефритовом ложе, укрытый покрывалом с вышитыми голубыми драконами. Его дыхание стало тяжёлым, а взгляд — рассеянным.

Императрица сидела у изголовья, не меняя выражения лица. Она была одета в тёмно-синий халат с золотыми нитями, её волосы были убраны в сложную причёску, украшенную серебряными шпильками. Слуги передвигались по залу почти бесшумно, опуская головы и не встречаясь взглядами.

В коридорах дворца стоял полумрак. На стенах висели свитки с изображениями гор и журавлей, в углах — фарфоровые вазы с увядающими цветами. Евнухи и служанки шептались, стараясь не попадаться на глаза старшим.

— Император болен, — говорили они, пряча лица за рукавами.
— Императрица не отходит от него ни на шаг.

— А наложницу не пускают, — вздыхала молодая служанка. — Она теперь как тень.

— Таков порядок, — отвечал старший евнух. — Порядок важнее чувств.

В покоях Ён Джу царила тишина. Её служанки шептались у дверей, иногда бросая тревожные взгляды на свою госпожу. Она сидела у окна, в белом платье, и смотрела на сад, где на земле лежала сломанная ветка сливы. Её руки были сложены на коленях, движения — медленны и точны, как у фарфоровой куклы.

Когда император умер, дворец погрузился в ещё большую тишину. Евнухи и стража стояли у дверей, не двигаясь. Императрица отдала короткий приказ, не повышая голоса. Служанки одели Ён Джу в белое, как велит обычай, и вывели её из покоев. Она не сопротивлялась, не плакала, только один раз задержала взгляд на саду, где теперь уже не цвели сливы.

— Императрица приказала похоронить её вместе с императором, — шептались в тени колонн.

— Так всегда бывает, — равнодушно отвечал евнух. — Наследников от других женщин не должно быть.

— А если бы был мальчик?

— Тем более, если мальчик.

Процессия двигалась медленно, по выложенным камнем дорожкам, мимо прудов и павильонов. В этот день не было ни ветра, ни солнца. Только шелест шёлка, только глухой стук паланкина о плиты, только равнодушные лица слуг и евнухов.

Вечером, когда ворота гробницы закрыли, никто не заплакал. Всё было исполнено так, как велит порядок. На следующий год, когда во дворце вновь зацвели новые сливы, и никто не вспоминал её имя.

Часть четвертая

Глава первая

Школа встретила его тишиной.

Коридоры были уже не те — стены перекрашены, на доске объявления о кружках английского, а в учительской пахло не только мелом, но и кофе из нового автомата. Всё казалось чуть чужим, как будто он вернулся не домой, а в музей, где экспонаты расставлены не по памяти, а по инструкции.

В классах сидели новые дети — другие лица, другие взгляды, другие вопросы. Они смотрели на него с любопытством и лёгкой иронией.

— Зачем нам русский, товарищ учитель? Теперь все учат английский.

— Даже врага нужно знать и понимать, — ответил он, стараясь улыбнуться. — Но, если честно, я начал учить русский не из-за политики. Я учил его из-за одного человека. Из-за учительницы, которая когда-то читала нам стихи. Я учил его даже тогда, когда был в трудовом лагере.

— А что главное в языке? — спросила девочка у окна.

— Главное — не язык, — сказал он. — Главное — что чувствует автор. Главное — что вы хотите сказать, когда все слова уже сказаны.

Он открыл старую, потрёпанную книгу, ту самую, что когда-то держала в руках Мэй Линь. Листая страницы, он вдруг почувствовал, как время сжимается, как будто между прошлым и настоящим нет ни одного дня.

— Я хочу прочесть вам стихи, — сказал он. — Их когда-то читала нам моя учительница. Может быть, вы не поймёте всех слов, но, возможно, поймёте главное.

Он начал читать. Голос его был спокоен, но в каждом слове звучала память о том, что было потеряно, о том, что не вернуть. За окном шёл дождь, и капли стекали по стеклу, как строки, которые невозможно стереть.

Взрывом прерванный сон,
 Чья-то смерть, чей-то стон
 — Повторяется...
 Обгоревшая плоть, и земля, как качель
 — Качается...
 И нельзя отступить, и нельзя позабыть
 — Не стирается...

Он читал, а в классе было тихо. Даже те, кто обычно шептался, теперь слушали, не перебивая. Он закрыл книгу, посмотрел на учеников — и вдруг увидел в их глазах что-то знакомое: ожидание, тоску, надежду.

В тот момент в классе что-то изменилось. Кто-то неловко уронил книгу — и этот звук прозвучал так резко, что все вздрогнули, словно проснулись от долгого сна. Но никто не засмеялся, никто не сказал ни слова. Даже когда прозвенел звонок, сообщивший об окончании урока, ученики ещё какое-то время сидели молча, не вставая, будто не хотели отпускать то, что только что услышали.

Всё уже было: и этот класс, и этот закат, и даже его одиночество, которое казалось уже не личным, а частью какой-то древней, неумолимой истории.

Он знал, что всё это было predetermined: и его уход, и исчезновение школы, и даже этот вечер, когда солнце садится так, как будто прощается не только с ним, но и со всем, что было здесь когда-то.

И спустя многие годы, сидя в опустевшей старой школе, он вспомнил тот день, когда увидел её в последний раз.

Глава вторая

Вечер в старой школе был особенно тихим.

За окнами продолжали рыть землю экскаваторы, готовясь к сносу — и казалось, что город сам выталкивает из себя всё, что помнит о прошлом. Чэнь Ван сидел в пустом классе, где когда-то пахло мелом и детскими голосами, и вспоминал тот день, который так и не смог забыть.

Это было в лагере. Там время не шло — оно капало, как вода из проржавевшей трубы, и каждый день был похож на предыдущий.

Однажды утром бригадир пришёл и сказал, что им поручено похоронить несколько расстрелянных врагов народа. Никто не спрашивал, кто они. Никто не спрашивал, за что. Никто не удивился.

Они копали братскую могилу за лагерным ограждением, в сырой, тяжёлой земле. Потом подъехал грузовик, и из него начали выгружать тела — как страшные, тяжёлые мешки, без лиц, без имён. Их сваливали в яму, стараясь не смотреть, не думать, не помнить. Всё происходило быстро, почти аккуратно, как будто это была обычная работа — не страшнее, чем таскать кирпичи или чистить картошку.

Когда очередь дошла до него, Чэнь Ван взялся за одно из тел. Оно было легче, чем он ожидал. Он поднял голову — и увидел её. Мэй Линь. Даже в смерти она была прекрасна, только теперь её лицо стало совсем прозрачным, а широко открытые глаза — ещё чернее, ещё более безучастными, чем когда-либо. Он не закричал. Он не заплакал. Он не почувствовал ничего — только усталость, только пустоту, только холод, который не отпускал его уже много лет.

Он смотрел на неё, как смотрят на чужую фотографию, найденную на улице: с удивлением, с недоверием, с тем странным равнодушием, которое приходит, когда всё внутри уже перегорело. Он аккуратно опустил её тело в яму, как опускают в воду бумажный кораблик — слишком бережно для этого места, и сразу же забыл, что это был чей-то кораблик, чей-то голос, чья-то жизнь.

В тот день он больше не сказал ни слова.

А теперь, спустя годы, он сидел в опустевшей школе, где всё было готово к исчезновению. Он нашёл на подоконнике кусочек мела, подошёл к доске и дрожащей рукой начал писать те стихи, которые писал всю жизнь — с первой встречи с Мэй Линь, с первого урока, с первого взгляда.

Это были строки, которые остались, когда всё остальное исчезло.

Он писал медленно, буква за буквой, как будто возвращал к жизни не только слова, но и саму память. За окном уже темнело, и в этом полумраке казалось, что класс наполняется тенями — тенями тех, кто когда-то здесь учился, любил, ждал, терял и забывал.

Когда он закончил, он долго стоял у доски, не в силах оторваться от написанного. Потом положил мел на подоконник, провёл рукой по старой парте — и вышел, не оглядываясь.

Эпилог

*Я весь в тебе, я весь с тобой,
всё предначертано судьбой,
как будто я совсем другой,
как будто я совсем чужой.*

*Но ведь и ты уже не та,
и потемнела та рука,
что нежно гладила меня,
когда на близких не смотря
ты подарила мне себя.*

*Но знаю я: настанет день,
когда меня заменит тень,
когда укроют всё снега,
и только луч издалека
нежданно вдруг найдёт тебя,
и снова ты пойдёшь туда,
и снова ты найдёшь меня,
и снова мы с тобой вдвоём
откроем дверь, войдём в тот дом,
и только свечи будут там,
и бог навстречу выйдет к нам.*

*Мы пройдем этот путь вместе,
спотыкаясь, смеясь и плача,
друг от друга глаза в пол пряча,
запутавшись в чёртовом квесте.*

*В этом городе, полном лести,
где любовь ничего не значит,
где никто ничего не спрячет,
это место для нашей мести.*

Мы пройдем этот путь вместе...

Постскриптум

Глаза Мэй Линь были пусты и широко открыты. Она стояла у стены, в выцветшей робе, с руками, сложенными на животе, как будто она защищала то, чего у неё не было. В её лице не осталось ни слёз, ни чувств, ни злобы, ни сожалений. Только усталость, только бесчувствие, только равнодушие, которое приходит после слишком долгой боли. Она была оболочкой, оболочкой девочки, которая когда-то танцевала под песни на таком уже далёком языке.

Офицер за её спиной что-то бормотал — слова о врагах народа, о советских шпионах, о долге и справедливости. Его голос был глухим, как шум дождя за окном, и не имел к ней никакого отношения. Она не слушала. Слова больше не имели веса. Они были просто звуками, которые неслись куда-то вверх, в беззвёздное, ещё тёмное небо. Она уже не была здесь.

Когда он закончил, солдат рядом с ним передернул затвор. Щелчок металла пронзил тишину, но не её.

В этот миг, который должен был быть последним, Мэй Линь увидела не темноту, а свет. Не жизнь, пролетающую перед глазами, а бесконечное поле. Поле, усыпанное березами. Там не было боли. Там не было страха. Только лёгкость.

Как будто она погружалась в мягкую, тёплую воду. Как будто все нити, когда-то связывающие её с миром, вдруг разом распались. Она была легче воздуха, прозрачнее стекла. Она растворялась, становилась частью этого света, этого поля, этой воды. И где-то очень далеко, она услышала музыку — не ту, что звучит по радио, а ту, что играли для неё в детстве. И увидела тень сада, которого уже давно здесь не было, и в этой тени — сломанную ветку сливы, падающую в пустоту.

Выстрел разорвал воздух. Птицы вспорхнули с ветвей, не зная, куда лететь. Тело Мэй Линь осело к глиняной стене, как старый, лёгкий платок, который носила её мама. Глаза остались открытыми, глядя в беззвёздное небо.

Наконец, тишина.

Глоссарий:

Великий Кормчий (偉大的舵手) — Титул-эпитет Мао Цзэдуна (1893-1976), Председателя Коммунистической партии Китая. Символизировал его роль «ведущего корабль революции». В годы Культурной революции его портреты висели повсюду, его цитаты («Цитатник Мао» — «Маленькая красная книжница») заучивали наизусть. Его образ был сакрализован, любое инакомыслие жестоко каралось.

Пекинский автомобильный завод (北京汽车制造厂有限公司) — Один из флагманов советско-китайской дружбы 1950-х. Построен с помощью СССР, был оснащен советским оборудованием, производил грузовики по советским лицензиям (знаменитые «освобождения» — Jiefang, копии ЗИС-150). Место, где работали советские специалисты (как Морозов) и китайские переводчики (как Мэй Линь). После разрыва с СССР стал символом теперь уже самостоятельной, но все еще зависимой от прежних технологий промышленности Китая. Сейчас — BAW — Beijing Automobile Works Co.

Нанкин (南京) — Бывшая столица Китая при нескольких императорских династиях, а также столица Китайской республики. В декабре 1937 года Нанкин был захвачен японскими войсками итогом которого стала «Нанкинская резня». Насилие продолжалось в течение шести недель, начавшись 13 декабря 1937 года, в день, когда японцы овладели городом. За этот период солдаты Японской императорской армии убили, по разным оценкам, от 40 000 до более 500 000 китайских гражданских лиц и разоружённых солдат, а также совершили множество изнасилований и актов мародёрства.

Национальная библиотека (中国国家图书馆) — Крупнейшая библиотека КНР. Библиотека была основана в 1909 году как «Библиотека Столичных учительских палат» по согласованию с тронem и правительством последней китайской династии Цин. После Синьхайской революции 1911 года «Столичные учительские палаты» были переименованы в Пекинский университет, а библиотека в августе 1912 года была передана Министерству образования и открыта для посетителей. В 1916 году на неё были возложены функции главной

библиотеки страны. В 1928 году библиотека получила статус Национальной библиотеки.

«Маленькая красная книжица» (毛主席语录) — Красная книжечка с избранными цитатами Мао Цзэдуна. Была не просто книгой, а символом веры и орудие эпохи Культурной революции. Ее носили с собой, размахивали на митингах, заучивали цитаты наизусть. Цитирование «священных текстов» Мао было обязательным ритуалом, доказательством лояльности

Сад / Веточка сливы — В китайской культуре сад символизирует гармонию, природу, память и утрату. Часто ассоциируется с уединением, красотой и цикличностью времени, особенно в сочетании с цветущими сливами. Цветущая слива (мэйхуа — 梅花), является важным символом, олицетворяющим стойкость, чистоту, красоту, долголетие и возрождение. Она также ассоциируется с весной, началом нового года и надеждой.

Гоминьдан (中國國民黨) — Консервативная политическая партия Китайской Республики. Она была единственной правящей партией Китая с 1928 по 1949 год, но постепенно утратила контроль в ходе борьбы с Японской империей во Второй японо-китайской войне и с коммунистической партией Китая во время Гражданской войны. В декабре 1949 года Гоминьдан отступил на Тайвань после поражения от коммунистов.

Пекинский университет (北京大學) — Пекинский университет сыграл значительную роль во время Культурной революции в Китае. Он стал одним из первых центров студенческого движения, где активно действовали хунвэйбины. В период с 1966 по 1976 год, университет, как и другие учебные заведения, был вовлечен в политические кампании и столкновения, вызванные этой революцией.

Дацзыбао (大字報) — Рукописные стенгазеты, использовавшиеся во время Культурной революции для публичного осуждения «врагов народа» и пропаганды идеологии Мао Цзэдуна. Часто содержали списки «врагов народа» и лозунги, призывающие к борьбе с «четырьмя старыми» — идеологической концепцией Культурной революции, призывающей к уничтожению старых идей, культуры, обычаев и привычек, считавшихся

препятствием для построения нового общества. Привела к разрушению культурных ценностей, сжиганию книг и репрессиям против интеллигенции.

Не Юаньцзы (聂元梓) — Ассистент, преподаватель Пекинского университета, написавшая в мае 1966 года дацзыбао (стенгазету), ставшую одной из первых и наиболее известных критических публикаций Культурной революции. Её дацзыбао, зачитанное по радио, считается одним из знаков начала широкомасштабной Культурной революции, призвавшей к борьбе против «монстров и демонов». Её собственная судьба – яркий пример беспощадности той эпохи — после падения своего покровителя (жены Мао, Цзян Цин) в 1976 году была арестована, осуждена и провела долгие годы в тюрьме.

Хунвейбины (紅衛兵) — «Защитники революции, красногвардейцы» – в основном студенты и школьники, объединенные в отряды в начале Культурной революции (1966). Их красные повязки стали символом хаоса и насилия тех лет. Воодушевленные призывами Мао «бомбить штаб» (критиковать партийное руководство), они громили учреждения, унижали «контрреволюционеров» и «буржуазных академиков», жгли книги и произведения искусства. Их бунтарская энергия, направленная против «старого мира», вскоре стала неуправляемой и для самих властей, приведя к кровавым столкновениям между фракциями и последующему разгрому и отправке «на перевоспитание» в деревню.

Культурная революция (文化大革命) — Официально «Великая пролетарская культурная революция». Кампания, инициированная Мао Цзэдуном в 1966 году, длившаяся до его смерти в 1976 году. Формально направлена на борьбу с «ревизионизмом» и «буржуазными элементами» в партии и обществе, фактически привела к широкомасштабным чисткам, преследованиям интеллигенции, разрушению культурного наследия и огромным социальным потрясениям.

Костюмы и декорации пекинской оперы (京劇) — Пекинская опера — традиционный вид китайского театра, сочетающий музыку, пение, танец и акробатику. В годы Культурной революции объявлена «буржуазной» и «феодалной», подвергалась гонениям, декорации и костюмы публично

сжигались. Декорации и костюмы подвергались публичному сожжению как символ борьбы с «старой культурой».

Агитационные поездки, Великая китайская стена и свинарники — Министерство транспорта осенью 1966 года выделило хунвейбинам бесплатные поезда для разъездов по стране с целью «обмена опытом». Эти поездки были частью широкомасштабной кампании по распространению идеологии Мао Цзэдуна и борьбе с «четырьмя старыми». Хунвэйбины, в своей фанатичной борьбе с «старым миром», громили и жгли храмы и монастыри, а также снесли часть Великой китайской стены, употребив вынутые из неё кирпичи на постройку «более необходимых» свинарников.

Четыре старых (四旧) — Идеологическая концепция Культурной революции, призывающая к уничтожению старых идей, культуры, обычаев и привычек, считавшихся препятствием для построения нового общества. Привела к разрушению культурных ценностей, сжиганию книг и репрессиям против интеллигенции.

Инциденты в Ухане и Гуйлине — Вооруженный конфликт в китайском городе Ухане в июле 1967 года в разгар Культурной революции между двумя противоборствующими группировками, известными как «Миллион героев» и «Главный штаб Уханьских рабочих», состоявший в основном из неквалифицированных рабочих и хунвейбинов. После инцидента, когда армия открыто выступила против хунвейбинов, стала очевидна их слабость. Уже осенью 1967 года Мао сам применил армию против хунвейбинов. Иногда хунвейбины оказывали сопротивление армии. Так, 19 августа в город Гуйлинь после долгой позиционной войны вошли 30 тысяч солдат и бойцов народной крестьянской милиции и в течение шести дней в городе истребили почти всех хунвейбинов.

Чжэньбао дао (珍宝岛) / Остров Даманский — Небольшой остров на реке Уссури (кит. Усулицзян), ставший местом вооружённого пограничного конфликта между СССР и КНР в марте 1969 года. Столкновения, где погибли десятки молодых солдат с обеих сторон, стали трещиной, превратившей недавних «СССР и КНР — братьев навек» во врагов. Спор разрешила сама река, изменив русло и присоединив остров к китайскому берегу.

Запретный город (紫禁城) — Императорский дворец в Пекине, центр власти в Китае с XV по начало XX века, символизирующий ритуалы и иерархию императорской власти, сложной системы церемоний и традиций, регулирующих жизнь императорского двора, включая жертвоприношения, похоронные обряды и иерархию наложниц.

Корё (고려) / Кэсон (개성특별시) — Упоминание наложницы из Кэсон, столицы Корё (современная Корея) подчёркивает историческую связь между Китаем и соседними государствами, а также уязвимость чужестранцев при дворе. Ён Джу — это также отсылка к реальной практике, когда корейских девушек отправляли в китайские гаремы как «дань».

Лагерь перевоспитания (劳动改造营) — Система лагерей принудительного труда в КНР, куда отправлялись люди, признанные врагами народа или нуждающиеся в «перевоспитании» через труд, в том числе бывшие хунвэйбины.

Первые строки стихотворения, которое читают Мэй Линь и Чэнь Ван своим ученикам:

*Взрывом прерванный сон,
Чья-то смерть, чей-то стон
— Повторяется...
Обгоревшая плоть, и земля, как качель
— Качается...
И нельзя отступить, и нельзя позабыть
— Не стирается...*

Это строки из стихотворения «Реквием» белорусского поэта Владимира Данилюка. В оригинале:

*Взрывом прерванный сон,
Чья-то смерть, чей-то стон
Заново.
Обгоревшая соль и земля, что качель
Качается.
И нельзя отступить, и нельзя позабыть
Не стирается.*

Последние строки стихотворения, которое читает Мэй Линь своим ученикам:

*А что же те, ступившие за край?
Тонувшие, но выплывшие?
— Рай и ад познавшие,
За ту черту шагнувшие,
Где стал нечеловечен человек...
— Они молчат, они в душе мертвы.
Они мертвы.*

Это строки из стихотворения «Реквием» английского поэта Уилфреда Оуэна «Весеннее наступление» (Wilfred Owen, Spring Offensive) в переводе Антона Чёрного. В оригинале переводчика:

*Но что же те, ступившие за край?
Тонувшие, но выплывшие, рай
И ад познавшие, за ту черту
Шагнувшие, где погибает чёрт,
Где стал нечеловечен человек,
Где в славные чертоги бег простёрт –
Те, ползшие обратно в свой ковчег,
Что ели воздух удивлённым ртом –
Зачем молчат, молчат они о том?*

Книга вторая. Тропы

Сказали мне, что эта дорога меня приведёт к океану смерти, и я с полпути повернул назад. С тех пор всё тянутся предо мною кривые, глухие окольные тропы...

— Ёсано Акико

Пролог

Много лет спустя, на раскалённой от полуденного солнца парковке у торгового центра, где запахи асфальта и выхлопных газов смешивались в густой, неподвижный воздух, Ся Дэшэн увидит её и поймёт, что время — это не река, а замкнутый круг, и что некоторые встречи предопределены не для того, чтобы что-то начать, а чтобы напомнить о том, что так и не смогло закончиться.

Она стояла у задней дверцы маленького белого фургона с надписью «И пинь го» и пыталась поднять тяжёлую картонную коробку. Коробка не поддавалась, выскальзывала из рук, и в этом простом, неуклюжем движении было столько затаённой усталости, что Дэшэн почувствовал почти физическую боль. Тань Сянлю. Она почти не изменилась: та же тонкая линия шеи, те же тёмные волосы, собранные в небрежный узел, из которого выбилась непокорная прядь и прилипла к влажному виску. Она смахнула её тыльной стороной ладони — резким, отработанным жестом, в котором не было ничего от той школьницы, что смеялась, запрокинув голову, а только бесконечная, будничная работа.

Он мог бы подойти. Мог бы помочь с коробкой, окликнуть её по имени, небрежно улыбнуться, спросить, как дела. Но ноги будто приросли к асфальту. Потому что в эту самую секунду, когда она, нахмурившись, снова ухватила за коробку, время для него треснуло и потекло вспять, увлекая в тот день, много лет назад, когда они втроём — он, она и У Вэньбо — ещё были неразделимы, как три нити, сплетённые в один узел. Тот день, который должен был стать просто днём, а стал началом конца их общей истории. Они ещё не знали тогда, что каждый их шаг лишь запутывает

тропы их собственной судьбы, что каждая найденная правда будет отравлять их, как медленный яд, и что узел их дружбы уже начал расплетаться, обрекая их на то самое одиночество, от которого они так отчаянно пытались сбежать.

Он смотрел, как Сянлю, наконец справившись с коробкой, с усилием захлопнула дверцу фургона и, прислонившись к ней спиной, на мгновение закрыла глаза, словно пытаясь поймать секунду тишины в этом гудящем мире. И в этом её мимолётном покое, в опущенных плечах и чуть приоткрытых губах, Дэшэн увидел не просто усталость, а эхо той давней истории, тень той дороги, с которой они все свернули, каждый выбрав свой путь.

Подойти к ней сейчас — значило бы столкнуться с тем, чего он боялся больше всего: с вопросом, на который у него так и не было ответа. С тем прошлым, что продолжало жить в нём, как осколок. Он испугался — не её, не её усталого взгляда, а того, что он увидит в этом взгляде отражение собственного страха и собственного поражения. Она казалась Дэшэну совсем чужой — и в то же время до боли знакомой, как забытая мелодия, которую слышишь во сне.

Она его не заметила. Села в машину и уехала, растворившись в дрожащем мареве пекинского полудня. А он остался стоять на парковке, понимая, что всё это уже было — и эта встреча, и это бегство, и эта горечь, — и всё это неизбежно повторится снова, потому что в некоторых историях финал пишется в самом начале, а герои обречены вечно возвращаться к той точке, где их дороги разошлись навсегда.

Глава первая

В тот день послеполуденный свет лежал на столах ресторана «И пинь го» густыми, медовыми пластами, пылинки, лениво плясавшие в его лучах, казались древними, как иероглифы. Воздух был плотным от запахов: тонкий, почти призрачный аромат жасмина из чайника спорил с пряной тяжестью звёздчатого аниса и горячего масла, доносившейся из кухни, где на воках шипела чья-то будущая жизнь. Тань Сянлю, смеясь, отодвинула от себя пустую пиалу.

— Ты, Вэньбо, гений, — сказала она, и в её голосе звучала тёплая, дружеская насмешка. — Бросить математический факультет, чтобы копаться в этих ваших интернетах. Отец говорит, это как ловить ветер ситом.

— Ветер сейчас дорого стоит, — парировал У Вэньбо, не отрываясь от своего смартфона, его пальцы летали по экрану с хищной точностью. — А математика... она для тех, у кого много времени.

— У него нет времени даже на то, чтобы съесть свой рис, — подхватил Ся Дэшэн, кивая на нетронутую порцию друга.

Он говорил это, но сам смотрел не на Вэньбо, а на Сянлю. На то, как свет путался в её волосах, на тонкую линию её запястья, когда она потянулась за чайником. Она была здесь, вся — в этом мгновении, в этом запахе, в этом свете. Она была настоящей.

Я смотрю на Сянлю и думаю: вот она, рядом, и всё хорошо. Я слушаю Вэньбо и думаю: вот он, друг, и всё правильно. Сейчас я здесь, и в то же время я в школе, на последней парте, и учитель Чэнь говорит что-то о русской зиме, а я смотрю не на доску, а на её — на Сянлю — затылок, и думаю, что русская зима, наверное, пахнет так же, как её волосы, чем-то чистым и холодным, чем-то, чего здесь никогда не бывает. Она смеётся, и звук её смеха — как капли, падающие в глубокий колодец, и я пытаюсь сосчитать, сколько кругов разойдётся по воде, но сбиваюсь, всегда сбиваюсь...

— Кстати, — сказал Вэньбо, откладывая телефон так резко, будто в нём он прочитал мысли друга. Он посмотрел на них пустым, отсутствующим взглядом. — А вы знаете, что учитель Чэнь Ван умер?

Слова упали в тишину. Не в тишину — в вакуум, который вдруг образовался посреди их стола, высосав и запахи, и свет, и воздух. Смех Сянлю застыл на её губах. Дэшэн опустил палочки для еды, и они стукнули о край пиалы — единственный звук в оглохшем мире.

Умер. Учитель. Слово было коротким, сухим, как удар камня о камень.

— Как? — выдохнула Сянлю.

— Не знаю. На прошлой неделе, кажется. Сердце. Мне соседка его сказала, я мимо проходил.

Они молчали. Дэшэн смотрел в свою чашку, где на дне застыла последняя, не выпитая капля чая — тёмная, как зрачок.

— Надеюсь, его достойно похоронили, — тихо проговорила Сянлю, смотря куда-то в сторону, в окно, и её голос был голосом человека, пытающегося нащупать опору в темноте. — Он ведь жил совсем один.

Затем посмотрела на них — сначала на Дэшэна, потом на Вэньбо.

— Может... может, нам стоит сходить к нему домой? Разобрать его вещи, пока их просто не выбросили на свалку. Будет жаль.

Дэшэн поднял голову. Эта мысль — простая, правильная — показалась ему спасением.

— Да, — сказал он, сам удивляясь твёрдости своего голоса. — Он ведь всегда был какой-то... не такой, как все. На переменах всё время что-то писал, помните? Может, у него остались какие-то записи. Было бы интересно посмотреть.

Вэньбо пожал плечами, его лицо снова стало непроницаемым. — Хорошо. В эти выходные. У меня будет время.

— В выходные? — переспросила Сянлю.

— В выходные, — ответил он.

Решение было принято. Тишина отступила, но воздух уже не был прежним. Дэшэн взял тяжёлый керамический чайник и осторожно, стараясь не пролить ни капли, наполнил чашку Сянлю. Чайная струя была тёмно-янтарной, и на мгновение ему показалось, что он наливает не чай, а само время — густое, тягучее. Она едва заметно кивнула, не поднимая глаз. Её пальцы лежали совсем рядом с горячей пиалой.

Он смотрел на её руку и думал о руках учителя Чэня — в меловой пыли, с дрожащими пальцами, переворачивающими страницы старой книги. И ему вдруг стало страшно от того, как легко переплетаются нити живых и мёртвых, и как одна случайно оброненная фраза может прочертить на карте их привычной жизни новую, неведомую тропу.

Глава вторая

Воздух в тот выходной день был неподвижен и сер, как непроявленная фотография. Жилой комплекс «Хай Хон Линь» встречал их унылым однообразием бетонных панелей и слепых, одинаковых окон, и в его названии звучала насмешка, как в старой, забытой песне о счастье. Они шли молча, и звук их шагов по выщербленному асфальту казался неуместно громким.

Дэшэн шёл первым, неся в руках маленький букет хризантем — зачем, он и сам не знал, просто так было правильно.

Дверь нужной квартиры на седьмом этаже им открыла пожилая женщина с лицом, похожим на скомканную карту, и запахом дешёвого табака и бессонных ночей, въевшимся в её серую кофту.

— А, это вы, ученики, — сказала она без удивления, будто ждала их. — Хорошо, что пришли. Ключ мне участковый оставил. Забирайте, что нужно.

Она говорила ровным, усталым голосом человека, для которого и жизнь, и смерть — лишь часть бесконечной ночной смены. Протягивая им ключ, она добавила, глядя куда-то мимо них, в пыльный полумрак коридора:

— Он ведь там, в сквере, и умер. На скамейке. Где сливы цветут весной. Сидел, говорят, просто сидел, смотрел на деревья, а потом голова на грудь упала. Сердце, говорят. Хороший был человек. Тихо ушёл.

Они вошли. Ключ повернулся в замке с сухим, неохотным щелчком. Квартира пахла пылью и старой бумагой, запах был таким плотным, что его, казалось, можно было потрогать. Это была не комната, а лабиринт, возведённый из книг, учебников и старых школьных тетрадей. Стеллажи до потолка, стопки на полу, башни на подоконнике. Книги, казалось, были единственной мебелью, единственной архитектурой этого места. Свет, пробиваясь сквозь мутное стекло, был тусклым и придавал всему вид подводного царства, где время остановилось.

Они разошлись по комнате, двигаясь осторожно, будто боялись нарушить хрупкий порядок этого хаоса. Вэньбо сразу направился к

письменному столу, деловито оценивая объём работы. Сянлю замерла посреди комнаты, медленно обводя взглядом книжные стены. Дэшэн просто дышал этим воздухом, впитывая его, чувствуя себя незваным гостем в чужой вселенной.

— Вот, кажется, — сказала Сянлю, указывая на картонную коробку в углу, перевязанную бечёвкой. На ней каллиграфическим почерком учителя было выведено одно слово: «Дорога».

Они опустились на пол вокруг коробки. Вэньбо привычным движением разрезал бечёвку. Внутри, плотно уложенные, лежали исписанные от руки тетради, блокноты и отдельные листы. Ни одной печатной страницы. Всё — дыхание одной руки. Сянлю потянулась за верхней тетрадью, но несколько листов выскользнули и заскользили по полу. Прежде чем Дэшэн успел шевельнуться, Вэньбо уже наклонился, проворно собрал их и протянул ей. Их пальцы на мгновение соприкоснулись. Дэшэн отвёл взгляд.

Он взял другую стопку, верхний лист был из плотной, чуть пожелтевшей бумаги. Почерк был знакомым — тем самым каллиграфическим, которому учитель пытался их научить, — но в длинных, ниспадающих штрихах иероглифов чувствовалась едва уловимая дрожь, словно кисть боролась с невидимым течением. Это было стихотворение. Первые строфы были выведены чисто, почти безупречно. Но дальше, после девятой строки, начинался хаос — густая, яростная паутина зачёркнутых слов, чёрный терновник, в котором мысль запуталась и умерла. Последние девять строк были зачёркнуты.

Но Дэшэн смотрел не на них. Он смотрел вверх, над первой строкой. Там, как два печальных флага над полем битвы, стояли два иероглифа. Название.

Мэй Линь.

— Смотрите, — прошептал он.

Сянлю и Вэньбо наклонились. Они молча смотрели на два этих слова, потом на перечёркнутые строки, потом снова на имя. Оно висело в тишине комнаты, чужое и незнакомое.

— Мэй Линь... — тихо повторила Сянлю, и её голос прозвучал как вопрос. — Кто это? Он никогда о ней не рассказывал.

— Может, это его дочь? — предположил Вэньбо.

— Или кто-то, кого он любил, — сказал Дэшэн, и сам удивился, как легко это слово слетело с его губ.

Дэшэн смотрел на эти два иероглифа и чувствовал, как имя это, словно капля чернил, упавшая на чистый лист, начинает расползаться, окрашивая всё вокруг — и пыльную комнату, и книги, и тусклый свет из окна — в цвет тайны, к которой они только что прикоснулись.

— Давайте заберём это, — тихо сказала Сянлю. — Всё, что осталось.

Вэньбо кивнул. Решение было принято. Они вышли из квартиры, не оглядываясь, оставив хризантемы на подоконнике, среди книг. Соседка молча забрала ключи, даже не спросив, что они с собой взяли.

Глава третья

Они вышли из подъезда в серый, безразличный свет дня, и тишина квартиры учителя сменилась приглушённым гулом города. Картонная коробка, которую теперь нёс Дэшэн, казалась неуместно лёгкой и одновременно неподъёмно тяжёлой. Они шли, не говоря ни слова, пока у Вэньбо настойчиво не зажужжал телефон. Он вытащил его, посмотрел на экран и со вздохом сбросил вызов.

— Это Фан, — сказал он, обращаясь ко всем и ни к кому. — Она звонит уже в пятый раз. Завтра я буду занят. Мы должны поехать к её родителям. Говорит, что я провожу с вами больше времени, чем с ней.

Он неловко замолчал. В его словах не было извинения, только констатация факта — другого, параллельного мира, который требовал его присутствия.

— Ничего, — сказала Сянлю, и её голос был ровным и понимающим. — Я тоже завтра помогаю родителям в ресторане. Весь день на ногах.

— Тогда я возьму это к себе, — сказал Дэшэн, и никто не возразил.

— Только не потеряй, — сказала Сянлю, и её голос был мягким, почти заботливым.

— Не потеряю, — пообещал он.

Они разошлись на перекрёстке. Вэньбо быстро свернул к метро, Сянлю пошла в сторону своего дома, а Дэшэн остался на мгновение один, сжимая в руках эту коробку, как хрупкий сосуд, наполненный чужой жизнью. Он смотрел им вслед, пока их силуэты не растворились в вечернем свете, и только тогда повернул к себе.

Вечер он провёл в своей комнате, где порядок и пустота были полной противоположностью жилищу учителя. Здесь не было гор книг, только учебники, аккуратно сложенные на столе, и компьютер, чей тёмный экран отражал его собственное лицо. Он поставил коробку на пол, сел рядом и начал разбирать бумаги.

Это был не дневник. Это были фрагменты, эскизы мыслей, зарисовки чувств, набросанные на вырванных листах школьных тетрадей. Не было ни дат, ни последовательности — лишь острова текста в океане пустого времени. И на нескольких из этих островов, как печать мастера на старинном свитке, повторялось одно и то же имя. Мэй Линь.

Дэшэн взял один из таких листов. Записи на нём были короткими, отделёнными друг от друга пустым пространством. Каждая — как отдельное стихотворение.

Её голос открыл окно в город, где пахнет снегом. Она похожа на веточку цветущей сливы. Мой карандаш пытался поймать её тень, но рисовал лишь отражение в луже. Стихи о войне падали в тишину, как капли на сухую землю. В них была боль, а не победа. Я хотел спросить о её печали, но промолчал. Как всегда. Но иногда молчание — единственный крик.

Дэшэн перевернул лист. С обратной стороны было всего несколько строк, написанных ещё более скупой, как будто слова стоили слишком дорого.

Вода капает с крыши — в каждой капле её голос: тихий, упрямый, неотступный. Мама говори: «Это дом плачет». Если дом плачет, он живой — ему тоже больно.

Он взял другой клочок бумаги. Записи здесь были ещё более отрывочными, словно заметки на полях чужой жизни.

Ждал её у ворот. Она ушла на завод. Я остался на пороге. Мама ждёт отца, который не вернётся. А я жду её, не зная, вернётся ли. В библиотеке искал её в книгах. Нашёл только себя — другого, чужого. Её дорога оставила за собой лишь рябь на воде. Железо и шум. Там нет стихов. Здесь — только пустота. Каждая книга — капля в бездну. Я тону в этой бездне. Я — не я. Я — отражение.

Дэшэн отложил листы. Он сидел в тишине своей комнаты, но слышал гул чужого времени. Эти записи были похожи на древнюю живопись гохуа — несколько точных мазков туши, а всё остальное дорисовывает воображение. Было упоминание школы. И завода. Но кем была она, эта женщина с голосом, похожим на снег, так и оставалось загадкой.

Ночь прошла незаметно. Когда первый серый свет коснулся окна, Дэшэн взял телефон. Он открыл их общий чат с Сянлю и Вэньбо — тот самый, где когда-то они договаривались о встречах, смеялись над фотографиями, делились мелочами. Пальцы сами набрали сообщение: «Я прочитал кое-что. О ней. О Мэй Линь. Он пишет про школу. Нашу школу. Может, попробуем узнать что-то там?»

Ответ от Сянлю пришёл почти сразу. Одно слово: «Хорошо». Сообщение от Вэньбо появилось через несколько минут. Такое же короткое: «В понедельник».

Путь был намечен.

Глава четвертая

Визит в школу ничего не дал.

Школа за последние годы почти не изменилась: те же стены, тот же запах мела и влажных тряпок, только лица в коридорах были другие, а голоса, казалось, звучали чуть громче, чем прежде. Всё здесь было похоже на прошлое, но не было им.

Секретарь в приёмной долго искала нужные бумаги, но нашла только старый классный журнал, где имя Чэнь Вана значилось в списке учителей, а напротив стояла аккуратная дата — год его ухода на пенсию.

Директор, женщина с короткой стрижкой и внимательным взглядом, выслушала их молча, а потом неожиданно сказала:

— Я была на похоронах Чэнь Вана. Там был товарищ Ян Цзысюань, заместитель редактора «Синь Вэньхуа» (Новой культуры). Он учился у Чэня ещё в старой школе, они были хорошо знакомы. Думаю, он сможет вам помочь.

Договориться о встрече оказалось просто: Ся Дэшэн, студент факультета журналистики, не раз бывал на лекциях Ян Цзысюаня и даже однажды задавал ему вопрос о свободе слова.

Редакция «Синь Вэньхуа» располагалась в стеклянной башне, где воздух был кондиционированным и пах дорогим кофе. Их провели в кабинет, залитый холодным светом, с панорамным окном, в котором город внизу казался аккуратной, безмолвной схемой. Ян Цзысюань, которому было далеко за шестьдесят, выглядел так, будто только что покинул тренажёрный зал и кабинет пластической хирургии одновременно. Его тело было подтянутым, лицо — гладким, а энергия, исходившая от него, была почти агрессивной. Он не стал тратить время на любезности.

— Итак, — сказал он, жестом указывая им на стулья, в то время как сам остался стоять, — ученики моего старого учителя. Зачем вам это?

Его вопрос был не любопытством, а скорее допросом.

— Мы разбираем его бумаги, — начал Дэшэн. — И нашли имя... Мэй Линь.

Ян Цзысюань на мгновение замер, его взгляд стал непроницаемым, как полированное стекло.

— У учителя Чэня была непростая жизнь, — сказал он, обходя тему имени. — Он сделал ошибки, но партия дала ему возможность искупить их и стать полезным членом общества. Он иногда упоминал, что в юности у него была учительница русского языка. Но имени её никогда не называл.

Он подошёл к своему столу, что-то набрал на клавиатуре. Принтер в углу бесшумно ожил.

— Что касается старой школы... — продолжил он, — у нас был большой материал о ней, когда её сносили. Красивая история о том, как прошлое уступая место будущему, открывает другое прошлое.

Он протянул Дэшэну несколько свежееотпечатанных листов. Заголовок гласил: «Прощаясь с эпохой, или новая страница истории».

В этот момент Дэшэн почувствовал, что бумага в его руках чуть дрожит — то ли от кондиционера, то ли от того, что он сам не знал, чего ждет от этих страниц.

— В архиве журнала, возможно, есть старые фотографии, — добавил он, видя их растерянность. — Групповые снимки классов, учителей. Я попробую найти, когда будет время.

Он говорил быстро, деловито, словно выдавал им порцию информации, отмеренную и утверждённую.

— У него остались родственники? — спросила Сянлю, и её голос в этой стерильной тишине прозвучал особенно тихо.

— Знаю только, что его мать была из Нанкина. После всех... событий, в начале семидесятых, она вернулась туда. Мой сокурсник, нанкинский журналист, кажется, даже делал с ней интервью много лет назад. Для статьи о выживших. Могу попробовать найти его контакты.

Он снова сел за стол, давая понять, что аудиенция окончена. Когда они уже были у двери, он бросил им вслед, и в его голосе прозвучали новые, почти отеческие нотки, которые пугали больше, чем его прямота.

— Послушайте моего совета. Не стоит слишком копаться в прошлом. Оно может оказаться не таким интересным, как кажется. Иногда руины лучше оставить под землёй. Не все тени стоит будить. Поверьте, это важно — и для страны, и для вас.

Прощаясь с эпохой, или новая страница истории

Корреспондент: Ли Чжун, «Синь Вэньхуа»

Там, где ещё вчера стояли серые стены старой школы района Сичэн, сегодня гудят экскаваторы и закладывается фундамент будущего. На этом месте, овеянном памятью нескольких поколений пекинцев, скоро вырастет современный жилой комплекс «Хай Хон Линь», ещё один символ

стремительного развития нашей столицы, уверенно шагающей в XXI век. Прошлое уступает место будущему — таков непреложный закон диалектики и прогресса.

Однако иногда, сбрасывая с себя ветхие одежды, история преподносит нам удивительные сюрпризы. Прошлое, уступая место будущему, открывает другое, ещё более древнее прошлое. Именно такой сюрприз ожидал строителей компании «Великий Дракон» на прошлой неделе. При рытье котлована под фундамент одного из корпусов ковш экскаватора наткнулся на неожиданное препятствие. Работы были немедленно приостановлены, на место вызвана группа археологов из Пекинского городского института культурного наследия.

Их ждала поистине сенсационная находка. Под фундаментом старой школы, на глубине нескольких метров, было обнаружено одиночное захоронение эпохи династии Мин. Как пояснил руководитель экспедиции, профессор Ван Дэлун, богатое убранство могилы и характер погребальных артефактов указывают на то, что здесь был похоронен человек высочайшего статуса при императорском дворе — предположительно, главный евнух (да-цзунгуань) Запретного города.

«Это уникальный случай, — комментирует профессор Ван. — Захоронение находится далеко за пределами известных императорских усыпальниц. Возможно, этот человек по каким-то причинам удостоился чести быть похороненным здесь, в уединении. Мы продолжаем исследования, но личность его пока остаётся загадкой».

Но самая поразительная находка ждала учёных внутри гробницы. Среди ритуальных сосудов и шёлковых свитков была обнаружена небольшая нефритовая шкатулка тончайшей работы. На крышке её были искусно вырезаны два иероглифа на древнекорейском письме *ханча*: Ён Джу. Внутри шкатулки, на подкладке из истлевшего шёлка, лежала почерневшая от времени, сломанная веточка, по мнению ботаников, некогда бывшая цветущей сливой. А под ней — хрупкий бумажный свиток. Текст на нём, написанный изящной каллиграфией, гласил:

«...её движения были подобны танцу ивы на ветру, а шаг её был бесшумен, как падение лепестка на воду. Когда она наливала чай, её руки, тонкие, как молодой бамбук, казалось, не касались фарфора, а лишь

направляли его полёт. В её молчании была глубина озера, но когда она начинала говорить, голос её звучал, как прекрасная мелодия. Возможно, оттого, что пришла она из далёкой земли Корё. Она была похожа на хрупкую фарфоровую куклу, созданную не для жизни, а для вечного созерцания...»

Работники школы, узнав о находке, были немало удивлены. «У нас во дворе всегда росли старые сливы, — вспоминает бывший завхоз школы, господин Чжан. — Весной их аромат наполнял классы, и после уроков мы часто выходили под эти деревья, чтобы немного отдохнуть. Никто и не думал, что под нашими ногами — такая история».

Кто была эта таинственная Ён Джу? Почему шкатулка с её именем оказалась в могиле высокопоставленного придворного? Что с ней случилось? Археология пока молчит. Кроме этой надписи, её имя не упоминается ни в одной из известных хроник. Уникальная находка передана в столичный исторический музей, где она займёт достойное место, свидетельствуя о глубине и многогранности нашей великой истории, новые страницы которой мы открываем и сегодня, строя наш новый, великий Китай.

Новый район продолжает расти и, возможно, аромат старых слив ещё долго будет напоминать жителям «Хай Хон Линь» о том, что у каждого места есть своя мелодия — иногда очень древняя и очень хрупкая.

Глава пятая

Утро пришло с телефонным звонком, резким и неуместным в сером рассветном свете. Голос Ян Цзысюаня в трубке звучал иначе, чем вчера, — в нём не было ни стали, ни отеческой снисходительности, только сухая, деловая энергия. Словно ночной разговор с собственной совестью закончился принятием делового решения.

— Ся Дэшэн, — сказал он без предисловий, — я подумал о вашем интересе. Вам стоит съездить в Нанкин. Посетите мемориал жертвам резни. Это важно для понимания контекста. Мой сокурсник, Чжан, готов встретиться с вами в эти выходные. Он тот самый журналист.

Дэшэн молчал, пытаясь осознать этот внезапный поворот.

— И ещё, — добавил Ян Цзысюань, будто ставя точку в невидимом списке дел, — я попросил найти и отсканировать фотографии из архива старой школы. Пришлю вам на почту, как только будет готово. Может, это поможет. Всё.

Короткие гудки. Дэшэн ещё долго держал телефон у уха, слушая тишину.

Вечером они снова сидели в «И пинь го». Ресторан был почти пуст, и в этой вечерней тишине их слова звучали особенно весомо. Дождь прошёл, оставив после себя запах мокрого асфальта и чистоты.

— Странно, — сказал Дэшэн, глядя в свою чашку, где плавал жасминовый цветок, — в той статье из газеты... сломанная ветка сливы. В своих записях учитель Чэнь тоже сравнивает её, Мэй Линь, с цветущей сливой, с мэйхуа.

Он поднял глаза на Сянлю. Она смотрела на него с иронией, но глаза её были внимательны, как у человека, который ждёт ответа.

— Ты в неё влюбился? В Мэй Линь? — спросила она.

Вопрос был негромким, почти шутливым, но он повис в воздухе, как дым от погасшей свечи. Дэшэн не нашёл ответа. Он просто промолчал, и это молчание было громче любого слова. А в груди стало пусто и тревожно, как в комнате после ухода гостей.

Влюбился? Как можно влюбиться в имя на бумаге, в шёпот, в тень? Но разве я не влюбился тогда, в школе, в то, как свет лежит на её волосах, в звук её смеха? Разве любовь — это не попытка прочесть в чужих глазах то, чего там, возможно, и нет? Я смотрю на Сянлю, а вижу её — Мэй Линь, и они сливаются в один образ, в одну печаль, и я тону в этом...

Сянлю отвела взгляд, нарушив затянувшуюся паузу.

— А ваши родители, — спросила она, обращаясь к обоим, — они что-нибудь говорят про те времена? Про Культурную революцию?

— Мои молчат, — ответил Дэшэн. — Отец говорит, что вспоминать — это как снова рыть окопы, в которых ты уже один раз чуть не погиб.

— Мои тоже, — вздохнула Сянлю. — Мама только говорит: «Времена были непростые, всякое случалось». И всё. Будто дверь закрывает... Но они же тогда были детьми.

Они посмотрели на Вэньбо. Он вертел в руках свой телефон, его лицо было непроницаемым. Он долго молчал, а потом вдруг сказал, глядя не на них, а на тёмный экран:

— Мы с Фан хотим уехать в Штаты. Она там будет учиться, в университете. А я могу работать удалённо. В интернете нет границ.

Сянлю кивнула, не удивившись, но в её движении было что-то окончательное, как точка в конце письма.

Уехать. В Штаты. Для Дэшэна эти слова прозвучали как объявление о выходе из их мира, из их общей истории, из их квеста.

В тот вечер, когда они расходились, он впервые отчётливо почувствовал, что их троица, их негласный союз, который казался ему таким незыблемым, стоит на скользкой, наклонной тропе. Он смотрел, как удаляются его друзья — каждый в свою сторону, — и понимал, что Вэньбо мысленно уже там, за океаном, Сянлю — здесь, в своём мире ресторана и дочернего долга, а он... он остаётся один, наедине с коробкой чужих рукописей и призраком женщины с голосом, похожим на снег. Тропа вела каждого из них в своё «никуда». Но, может быть, именно там, в этом «никуда», и скрывается то, что они ищут.

Глава шестая

«Стена скорби» встретила их не тишиной, а безмолвным, многотысячным криком. Она была сделана не из камня, а из имён, и воздух перед ней был холодным и неподвижным, как в склепе. Дэшэн смотрел на бесконечные столбцы иероглифов, и ему казалось, что если прикоснуться к ним, пальцы обожжёт ледяным огнём чужой, прерванной жизни.

Сянлю подошла ближе. Она не боялась. Она медленно вела рукой по выгравированным именам, не касаясь их, лишь следуя за линиями, и губы её беззвучно шевелились, будто она читала не список, а молитву. Она пыталась вернуть им голос. Затем Сянлю задержала руку на одном из

иероглифов, потом убрала ладонь, будто испугалась, что память может быть заразной. И в этот момент Дэшэну захотелось пролезть в один из проёмов в стене, исчезнуть, уползти отсюда, исчезнуть из этого места, где прошлое было слишком живым, а настоящее — невыносимо бессильным.

Каждое имя — не просто иероглиф, вырезанный в граните. Это чей-то голос, который замолчал в середине фразы. Чей-то смех. Чей-то страх. Сотни тысяч оборванных историй.

Господин Чжан ждал их в маленькой, почти пустой чайной, где пахло сырым деревом и дешёвым зелёным чаем. Он был человеком, с лица которого, казалось, сошли все краски. Оно напоминало пересохшее русло реки, где остались только морщины — следы давно ушедшей воды. Он не улыбнулся, только кивнул, указывая на стулья.

— Вы опубликовали то интервью? С матерью учителя Чэня? — спросил Дэшэн, не в силах больше терпеть молчание.

— Нет, — ответил Чжан. Его голос был таким же бесцветным, как и его лицо. — Редактор сказал, что это слишком личное. Слишком мрачное для нашей эпохи. Читателю нужны истории успеха, а не скорби.

Он полез во внутренний карман своего старого, потёртого пиджака и достал не бумаги, а маленькую пластиковую аудиокассету. Артефакт из другого времени.

— Но я сохранил запись, — сказал он, положив кассету на стол. — Вот. Послушайте сами.

Она лежала между их чашками — маленький чёрный гроб, в котором был заперт голос.

— Она упоминала имя Мэй Линь? — тихо спросила Сяню.

— Нет. Никогда.

— А что... что она говорила о сыне?

Господин Чжан на мгновение прикрыл глаза, будто что-то вспоминая.

— Помню, она сказала... что после лагеря он стал другим. Замкнутым. И он всё время учился. Учился так отчаянно, будто хотел

забить голову цифрами, словами, фактами... будто пытался учёбой вытеснить из памяти что-то, о чём отчаянно хотел забыть.

— Её звали Мин. Чэнь Мин, — добавил он. И замолчал. Ему больше нечего было сказать им.

На обратном пути, в вечернем поезде, мчавшем их обратно в Пекин, они не разговаривали. Дэшэн сидел у окна и молча смотрел в темноту, где не было ничего, кроме их собственного, призрачного отражения. В руке он сжимал кассету. Она была тёплой от его ладони. Он был её новым хранителем.

Рядом, отвернувшись к стене, тихо, без единого всхлипа, плакала Сянлю. Её плечи мелко дрожали, и в этой беззвучной дрожи было всё: и ужас стены с именами, и печаль по незнакомой матери учителя Чэня, и смутное предчувствие той боли, что была заперта в маленьком чёрном прямоугольнике, который они везли с собой.

Глава седьмая

Они сидели на полу в комнате Дэшэна. Магнитофон принёс Вэньбо — старый, громоздкий аппарат, который он нашёл у своего отца. Он поставил его на пол с видом инженера, готовящегося к важному эксперименту, и в этой его деловитости была попытка защититься от того, что им предстояло услышать.

— Готовы? — спросил он, и никто не ответил.

Дэшэн кивнул. Вэньбо нажал на клавишу. Раздался глухой щелчок, потом — шипение, похожее на шум ветра в пустом поле или на дыхание спящего великана.

И сквозь это шипение пробился голос.

Голос был старым, тонким, как высохший лист. Он не рассказывал — он вспоминал, и каждое слово давалось ему с трудом, будто он вытаскивал его из-под завалов времени.

(Шипение ленты)

«Зима в тот год пришла рано. Или мне так казалось. Река стала серой, как железо. А потом пришли солдаты. Они не были похожи на

наших. У них были другие лица, как маски. И говорили они на языке, похожем на лай собак. Город заболел. Сначала у него поднялась температура — всё горело, кричало. А потом он замолчал.

...

Я помню, дядя сидел дома. Они пришли и просто показали на него пальцем. Он ушёл с ними. Мама сказала, он поехал в очень далёкое место. Он больше не вернулся. Другой дядя... его и других мужчин повели к реке. Мама закрыла мне глаза, но я всё равно видела. Река в тот день покраснела. Не от заката. Мы потом долго боялись к ней ходить. Думали, что если зайти в воду, ноги станут красными.

...

Мы прятались. Везде. В подвалах. В ямах. Пахло сырой землёй и страхом. Один солдат нашёл нас. Он не кричал. Он просто ткнул в меня чем-то холодным и острым. В ногу. Было не больно. Было странно. Как будто холодный палец оставил на мне свою подпись. Мама сказала: «Тихо, тихо, всё пройдёт». *Этот знак... он до сих пор со мной.*

...

(Пауза. Слышно, как женщина пьёт воду. Рука дрожит, стакан стучит о зубы)

...

Они не любили девочек. И женщин. Когда они приходили, все женщины становились тихими, как куклы. И смотрели в одну точку. Моя старшая сестра... она потом очень долго не разговаривала. Только смотрела на свои руки.

...

Последнее, что я помню — это яма. Мы сидели в ней, как семена в земле. Было темно. Мы не дышали. Мама, бабушка, тётя, соседи... все. Мама была беременна. В животе у неё был мой братик. Он должен был скоро родиться. Когда стало совсем тихо, мы вылезли. Нет. Не мы. Вылезла я. И бабушка. Все остальные... они остались спать в земле. И мой братик тоже. Он остался там, так и не успев поздороваться с этим миром.

Семь человек. Нет, не семь. Шесть. Он ведь не считался, он ещё не родился...

...

(Долгая пауза. Только шипение ленты)

...

Мне всегда очень больно, когда я об этом говорю. Мой сын... Чэнь Ван... он всё это знал. Может, поэтому он всегда был таким... тихим».

(Щелчок. Тишина)

Плётка кончилась. Шипение прекратилось. Но тишина, наступившая в комнате, была ещё страшнее. Она была плотной, тяжёлой, пропитанной запахом сырой земли, красной воды и несбывшихся жизней.

Дэшэн не мог пошевелиться. Он смотрел на остановившийся плеер, и ему казалось, что если он её сейчас коснётся, то она вспыхнет.

Рядом сидела Сянлю. Она не плакала. Она просто смотрела перед собой, на стену, но видела не стену. Её лицо было белым, как бумага, на которой только что написали страшную, непоправимую историю. Она медленно подняла руку и прикоснулась к своему лицу, будто проверяя, на месте ли оно, не стало ли оно маской.

Вэньбо, сидевший чуть поодаль, медленно встал. Он подошёл к окну и встал к ним спиной, глядя на огни ночного города.

— Я пойду, — сказал он, не оборачиваясь. Его голос был глухим. — Мои родители познакомились на Тяньаньмэнь.

И он ушёл. Дверь за ним тихо щёлкнула.

А Дэшэн и Сянлю остались сидеть в оглушительной тишине, которую оставил после себя этот тихий, старческий голос. И оба понимали: они искали историю любви, а нашли исток бесконечной боли. Они думали, что идут по следам тайны, а на самом деле шли по выжженной земле, где ничего не могло вырасти, кроме молчания.

Глава восьмая

Фотографии пришли на почту беззвучно, как призраки. Дэшэн открыл файл, и на экране его компьютера возникло прошлое — выцветшее, чёрно-белое, населённое чужими лицами. Групповые снимки классов, ряды одинаковых улыбок, одинаковых пионерских галстуков. Море лиц, в котором невозможно было утонуть, потому что оно было слишком мелким, слишком одинаковым.

И среди этого моря — один остров.

На фотографии учительского коллектива она стояла чуть в стороне. Высокая, с прямой спиной, в простом тёмном платье, которое казалось чужеродным среди серых френчей и строгих костюмов. Её взгляд был направлен не в объектив, а сквозь него, в какую-то свою, невидимую даль. В её лице не было улыбки, только тихая, почти прозрачная печаль. Она была как иероглиф из другого языка, случайно попавший в этот текст.

Дэшэн смотрел на неё, но мысли его путались, расплывались. В голове всё ещё звучал тихий, старческий голос с кассеты. Красная река. Яма в земле. Молчащий брат. Фотография накладывалась на этот голос, и лицо женщины на экране начинало дрожать, как отражение в воде, по которой прошла рябь.

Его оцепенение прервало короткое жужжание телефона. Сообщение от Вэньбо. «Я кое-что нашёл. Прислать не могу. Встретимся у Сянлю».

В ресторане было тихо. Сянлю сидела за дальним столиком, склонившись над телефоном. Она рассматривала фотографии, которые переслал ей Дэшэн, и, приближая изображение, задержала палец на лице женщины «из другого мира».

— Может, это она? Мэй Линь? — спросила Сянлю, подняв на него глаза.

— Может, — ответил Дэшэн. Голос был чужим, как будто он говорил из-за двери. — Я не знаю.

Пришёл Вэньбо. Он не сел.

— Пойдёмте, — сказал он. — Не здесь.

Они вышли в маленький сквер за рестораном, сели на скамейку под старой акацией. Вэньбо не стал ничего объяснять. Он молча достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги и протянул им. Это была ксерокопия машинописного текста, официального, безликого.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Кому: Секретарю партийного комитета района Сичэн, тов. Лю Цзяню

От: Руководителя рабочей группы Пекинского университета, тов. Вана

Дата: 17.08.1966

Тема: О проведении митинга по борьбе с «монстрами и демонами».

Довожу до вашего сведения, что 17 августа сего года отрядом хунвейбинов «Красное знамя» была проведена акция публичного осуждения контрреволюционных элементов из числа профессорско-преподавательского состава университета. На площадь перед главным корпусом были выведены профессор кафедры философии Мэй Мухэн и его супруга, профессор кафедры литературы Мэй Су.

На указанных лиц были надеты шутовские колпаки и плакаты с надписями «Я — враг народа» и «Я — ядовитая змея». В ходе митинга они были подвергнуты общественному порицанию, в том числе облиты помоями. Их заставили публично каяться в своих преступлениях, направленных на очернение идей Великого Кормчего и пропаганду буржуазной культуры.

Их дочь, гражданка Мэй Линь, на данном мероприятии не присутствовала. Согласно устному указанию, полученному из городского комитета партии, предписано не трогать гражданку Мэй Линь, так как она в настоящее время выполняет важное государственное поручение, работая переводчицей у советского военного специалиста Морозова Сергея Петровича на Пекинском автомобильном заводе.

Сяню дочитала и медленно опустила лист.

— Где ты это взял? — прошептала она.

— Не могу сказать, — ответил Вэньбо не глядя на неё.

— Думаешь, на заводе можно что-то найти?

— Вряд ли. Все архивы тех лет либо уничтожены, либо засекречены. Но я ещё кое-что узнал. В конце девяностых в Пекине некоторое время работал дипломат. Сергей Петрович Морозов. Возможно, это он. Значит, я смогу про него что-нибудь найти.

Дэшэн всё это время молчал, его взгляд был прикован к бездушным строчкам доклада. Шок от кассеты отступил, сменившись холодной, ясной яростью. Призраки обрели имена, даты и адреса.

— Давайте найдём его, — наконец сказал он. — Или его родственников. У них должны быть ответы. Я напишу им.

Слова прозвучали просто, почти буднично, но в них была решимость, которой раньше не было.

Он поднял глаза на своих друзей. И впервые за последние дни он снова был здесь, с ними. Боль превратилась в цель.

Глава девятая

Утро пришло с сообщением, коротким, как удар тока. Оно вырвало Дэшэна из вязкого, серого сна, в котором он бесконечно листал чёрно-белые фотографии. Это был Вэньбо.

«Кажется нашёл внука Морозова. В русских Одноклассниках. Тоже Сергей. Родился в Екатеринбурге — это бывший Свердловск. Сейчас живёт в Москве».

Так просто. Несколько кликов, и вот она — нить, протянутая через полвека и тысячи километров. Дэшэн смотрел на экран, и ему казалось, что эта цифровая лёгкость — кощунство по сравнению с тяжестью той истории, которую они пытались распутать.

Я пишу ей письмо. Нет, не ей. Ему. Внуку. Человеку, чья кровь помнит то, о чём молчат наши книги. Я пишу на русском, слова даются с трудом, они чужие, тягучие, как ледяная вода. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Ся Дэшэн. Я ученик одного учителя, которого звали Чэнь

Ван. Каждое слово — шаг по тонкому льду. Нельзя ошибиться. Нельзя спугнуть. Я все ещё ищу тень.

Ответ пришёл через несколько часов. Да, это его дед. Да, он помнит разговоры о Китае. И фотография. В письме была прикреплена фотография.

Та же женщина. То же лицо. Но свет в нём погас. Если на школьном снимке в её глазах была печаль, то здесь — обречённость. Она стояла рядом с высоким мужчиной в военной форме, и казалось, что между ними не воздух, а стекло. Она смотрела в камеру, но не видела её. Как будто она была где-то там, за невидимой чертой, куда не проникает свет.

Они договорились созвониться в субботу. Поздно вечером для Пекина, ранним утром для Москвы.

Встретиться решили у Сянлю. Но когда Дэшэн и Вэньбо вошли в ресторан, она не подошла к их столику. Она стояла у стойки, спиной к ним, и методично, с каким-то ожесточённым усердием, протирала стаканы. Её плечи были напряжены.

— Что с ней? — прошептал Вэньбо.

— Не знаю, — ответил Дэшэн, хотя уже почувствовал: что-то сломалось.

Они подошли к ней. Дэшэн достал телефон, показал ей фотографию, которую прислал Сергей.

— Смотри. Это она. Мэй Линь.

Сянлю не взглянула на экран. Она поставила стакан с таким стуком, что, казалось, он вот-вот треснет. И повернулась. Глаза её были красными, опухшими.

— Ищи сам свою Мэй Линь, — бросила она. — Мне это больше не интересно. И не приходите сюда больше.

Губы дрожали, руки тоже... Она вся дрожала, как натянутая струна.

— Сянлю, что случилось? — Дэшэн попытался коснуться её руки, но она отдернула её, как от огня.

Они вывели её на улицу, в тихий переулок за рестораном. Она прислонилась к стене и вдруг вся обмякла, её плечи затряслись, и она зарыдала — отчаянно, беззвучно, как плачут, когда боль уже не помещается внутри.

— Что случилось? — снова спросил Дэшэн.

Она говорила сбивчиво, задыхаясь от слёз.

— Я... я говорила со старой соседкой. С госпожой Сун. Спросила её... почему мои родители молчат о тех временах.

Она перевела дух.

— Она рассказала. Про мою бабушку. Мамину маму. В школе... она была активисткой. А когда началась Культурная революция... Она писала доносы. На своих одноклассников. На учителей. Половину их класса тогда... увели. Некоторые так и не вернулись.

Она подняла на них заплаканные, полные ужаса глаза.

— Вы понимаете? — прошептала она. — Моя бабушка... моя бабушка была доносчицей.

— Ты рассказала родителям? — тихо спросил Вэньбо.

— Нет, — Сяню покачала головой. — Соседка сказала, не надо. Сказала, им и так тяжело пришлось. Сказала, что бабушка потом всю жизнь этого стыдилась.

Она вытерла слёзы тыльной стороной ладони, тем же жестом, который Дэшэн спустя годы увидел на парковке. Теперь он знал, откуда в нём столько боли.

— Не приходите сюда больше, — повторила она, и теперь в её голосе была не злость, а глухая, мёртвая пустота. — Никогда.

Они молча развернулись, чтобы уйти. Они понимали: это конец. И когда они уже сделали несколько шагов, она тихо окликнула Дэшэна. Он обернулся.

— Удачи тебе, — сказала она. В её голосе не было ни иронии, ни злости. Только бесконечная, всепрощающая печаль. — Своей Мэй Линь.

В тот момент Дэшэн понял: иногда прошлое не отпускает не потому, что его ищешь, а потому, что оно само находит тебя — в чужих словах, в старых фотографиях, в слезах тех, кто рядом.

Глава десятая

Голос в трубке был молодым, с лёгким московским растягиванием гласных, но в нём слышалось эхо другого голоса — того, что когда-то звучал в пекинских коридорах. Дэшэн сидел в темноте своей комнаты, прижимая телефон к уху, как раковину, в которой шумит чужое море.

— Кто эта женщина на фотографии? — спросил он сразу, без предисловий. — Это Мэй Линь?

Пауза. Шорох, будто человек на том конце переложил трубку из руки в руку.

— Не знаю её имени, — наконец ответил Сергей Морозов. — Его никогда не произносили в нашем доме. Но дедушка берёт эту фотографию. Она всегда лежала в его столе, в верхнем ящике, под бумагами. Как будто он прятал её и от нас, и от себя самого. Иногда он доставал её, смотрел долго, но потом убирал обратно.

Голос тёк через расстояния, через годы, неся с собой запах старого дерева и невысказанных слов.

— Мама рассказывала, — продолжал он, — что дедушка вернулся из Китая каким-то... другим. Грустным. Нет, не грустным — отсутствующим. Как будто часть его осталась там. Бабушка пыталась с ним говорить, но он молчал. Потом мы переехали из Свердловска в Москву. Новая квартира, новая жизнь. Он работал, ездил в командировки. Пару лет был в Польше. Но мама говорила — он всё время хотел вернуться в Китай. Всё время.

Дэшэн слушал, и в темноте его комнаты начинали проступать контуры другой комнаты, другой жизни — жизни человека, который носил в себе чужую страну, как осколок.

— Бабушка даже думала, что у него там вторая семья, — голос Сергея дрогнул, то ли от смеха, то ли от чего-то другого. — Дети, может быть. Она ревновала его к этому Китаю, как ревнуют к женщине.

— Мы думаем, она работала у него переводчицей, — сказал Дэшэн, и его собственный голос показался ему чужим. — Мэй Линь.

— Переводчицей? Возможно. Дедушка мало говорил о том времени. А вы почему её ищете? Она ваша родственница?

— Нет. Но это долгая история.

И снова тишина, в которой слышалось дыхание двух людей, разделённых континентами, но связанных невидимой нитью чужой памяти.

— Знаете, — заговорил Сергей снова, и теперь в его голосе была та особая интонация человека, который рассказывает семейную легенду, — спустя много лет, уже в конце девяностых, его всё-таки снова отправили в Китай. С дипломатической миссией. Он уезжал надолго, но вернулся неожиданно быстро, где-то через полгода. И почти сразу ушёл на пенсию. После этого он совсем замкнулся. Уехал на дачу под Москвой. Сказал, что будет писать мемуары.

Голос становился тише, как будто рассказчик приближался к чему-то, о чём говорить было трудно.

— Он уехал на дачу. Под Москвой, в Малаховку. Сказал, что будет писать мемуары. Мы навещали его по выходным, привозили продукты, бумагу — он не умел пользоваться компьютером. У него была старая печатная машинка, ещё из Свердловска. «Ленинград», кажется. Но он никогда не показывал, что пишет. Говорил: «Вот закончу — прочтёте».

Пауза. Дэшэн слышал, как на том конце кто-то прошёл по комнате, скрипнула половица.

— А когда он умер, мы нашли только пачки чистой бумаги. Ровные нераспечатанные пачки. И один лист. А на нём было написано от руки всего одно слово: «Прости».

В трубке зашуршало, будто Сергей отошёл от окна.

— Вот и вся история, — сказал он. — Если найдёте что-то о ней, о той женщине — напишите. Может, тогда я пойму, почему дедушка всю жизнь просил прощения у чистого листа.

— Спасибо, — тихо сказал Дэшэн. — Спасибо, что рассказали.

Связь оборвалась. Дэшэн остался сидеть в темноте, держа в руке остывший телефон. За окном начинался рассвет — серый, пекинский, пахнувший дождём. И где-то там, в Малаховке, может быть, всё ещё стояла старая печатная машинка и лежал лист бумаги, на котором одинокое слово ждало своего адресата через годы и расстояния.

Глава одиннадцатая

Они встретились на той же лавочке, под акацией, где когда-то читали чужие письма и делили между собой тишину. Вечер был прозрачный, как вода в стакане, и в этом прозрачном воздухе всё казалось чуть более настоящим, чем обычно.

Вэньбо пришёл первым. Он сидел, уткнувшись в телефон, но, когда подошёл Дэшэн, убрал его в карман. Лицо было усталым, взгляд — рассеянным, как у человека, который уже одной ногой в другом городе.

Дэшэн сел рядом. Воздух между ними был холодным и плотным.

— Я говорил с ним. Это наверняка она, Мэй Линь, — начал Дэшэн, и слова его, полные ночного разговора, казались неуместно горячими в этом остывающем дне. — С внуком Морозова. Он сказал, дед всегда хранил её фотографию. Думаю, он приезжал тогда в Пекин, чтобы её найти.

Вэньбо не поднял головы.

— Нашёл? — его вопрос был коротким, прагматичным.

— Нет. Но знаешь... он говорил родным, что пишет мемуары. А после смерти нашли только пачки чистой бумаги. И один лист. На нём было написано одно слово. «Прости».

Дэшэн замолчал, ожидая реакции. Но Вэньбо, казалось, слушал не его, а что-то другое, звучавшее только внутри него самого.

— Ты тоже меня прости, — сказал он наконец, так же тихо. — Мы завтра улетаем.

Дэшэн не сразу понял.

— Куда?

— Сначала в Гонконг. Оттуда — в Штаты.

Слова были простыми, но они рушили мир.

— Почему так срочно? — только и смог выговорить Дэшэн.

— Родители сказали, что пора, — Вэньбо впервые поднял на него глаза, и во взгляде его была бесконечная, взрослая усталость. — Сказали, что нам здесь больше нечего делать. Что мы должны уехать.

— А Сянлю... ты ей сказал?

— Написал. Она не ответила.

Вэньбо достал из кармана флешку, положил её на скамейку между ними.

— Здесь ещё кое-что. Только никому не показывай, что здесь.

Он встал, не глядя на Дэшэна, и добавил:

— Провожать не надо. Мы улетаем рано утром.

Дэшэн смотрел на удаляющуюся спину друга, который шёл, не оглядываясь, растворяясь в вечернем городском свете.

Дэшэн остался сидеть один на холодной скамейке, сжимая в руке этот маленький, холодный ключ к ещё одной запертой двери. Он понимал: его друг не просто уехал. Он бежал. Бежал от страны, в которой прошлое оказалось тяжелее будущего. И теперь он, Дэшэн, остался единственным хранителем всех этих историй, всех этих призраков. Он остался один на этой тропе. Совсем один.

Глава двенадцатая

Много лет спустя, на раскалённой от полуденного солнца парковке у торгового центра, где запахи асфальта и выхлопных газов смешивались в густой, неподвижный воздух, Ся Дэшэн увидит её и поймёт, что время — это не река, а замкнутый круг, и что некоторые встречи предопределены не для того, чтобы что-то начать, а чтобы напомнить о том, что так и не смогло закончиться.

Он смотрел, как Тань Сянлю, прислонившись на мгновение к дверце своего фургона, уезжает, растворяясь в дрожащем мареве, и думал о том, что их поиски всё-таки привели к результату. Не к тому, которого они ждали, но к единственно возможному. Сянлю осталась одна в своём маленьком, пахнущем анисом и прошлым ресторанчике, запертая в нём, как в крепости, которую она сама возвела, чтобы защититься от тени собственной бабушки. А У Вэньбо растворился в цифровом пространстве Соединённых Штатов, в своём даркнете, перестал присылать открытки на Новый год и короткие поздравления с днём рождения, словно ампутировал своё прошлое, чтобы оно не отравляло его будущее. И Мэй Линь так и не появилась. Она так и осталась тенью на старой фотографии, взглядом, обращённым сквозь объектив в другую жизнь.

Но зато появилась правда.

Та самая правда, что тяжелее любого камня. Правда, которая не освобождает, а навсегда приковывает тебя к одному-единственному моменту. И он думал: если бы он знал тогда, в тот день, когда они втроём стояли у двери квартиры покойного учителя, что найдёт на флешке, которую оставил ему Вэньбо... Пошёл бы он? Открыл бы эту дверь? Или повернул бы назад, выбрал бы не ту тропу, не тот поворот?

На флешке были документы. Не просто списки, не просто протоколы. Там были приказы, подписи, списки имён. И среди них — фотография, где его дед, молодой, в военной форме, стоит в строю. На обороте — аккуратная надпись: «Член команды по исполнению приговоров. 1968». В других папках — отчёты, где всё было сухо, официально: «Приговор приведён в исполнение. Подпись: Ся Чжунь». Имена, фамилии. И даже Мэй Линь. Может быть, просто совпадение. Но мысль эта жгла, как ледяной огонь: а вдруг это была она, та самая Мэй Линь? А вдруг именно его дед был тем, кто нажал на курок? А вдруг именно его рука перечеркнула чью-то жизнь, чью-то любовь, чью-то память?

Мысль эта была не мыслью, а физической болью, ударом, от которого темнеет в глазах.

Он всё ещё стоял на парковке. Фургон Сянлю уже давно исчез. Солнце пекло нещадно. Дэшэн закрыл глаза, и перед ним снова возникла та скамейка, та акация, та флешка в его руке. Он понял, что так и не

свернул с той дороги, что ведёт к океану смерти. Он дошёл до конца. И океан этот оказался не где-то там, в чужой истории. Он оказался внутри него самого.

Да, их тропы разошлись не потому, что они искали не ту правду, а потому, что правда всегда ведёт к одиночеству. Потому что в конце любой дороги — только ты сам, твоя память, твоя вина, твоя любовь, которую никто не может разделить. И всё, что остаётся — идти дальше. По кругу. По тропе, которая всегда возвращает тебя к началу. И, может быть, только в этом круге и есть надежда — что когда-нибудь кто-то всё-таки свернёт с него, чтобы начать всё заново.

Эпилог

Она стояла перед большим листом дешёвой бумаги, расстеленным на полу. Кисть в её руке была не кистью — а скальпелем, которым предстояло вырезать опухоль сомнения, поразившую тело Революции. Она видела эту опухоль каждый день в университете. В глазах профессоров, в их мягких, уступчивых голосах, в их цитатах из древних, мёртвых книг. Слова их — паутина. Серая, липкая, в ней вязнет великое красное солнце, теряя свой жар. Они говорят о «гуманизме», о «нюансах», об «объективности», но она слышит только одно — шёпот старого мира, который отказывается умирать.

Председатель дал ей огонь. Его слова в её голове были не просто словами, а раскалёнными углями. «Бомбить штабы!» — и она чувствовала, как этот призыв становится её собственным пульсом. Нет. Она — инструмент. Она — рука истории. Она верила: если сказать это громко, если написать это тушью, если не дрогнуть — всё изменится. Все станет лучше. Для всех. Для страны. Для каждого.

Она обмакнула кисть в тушь. Чёрный цвет был абсолютным. Это был не цвет, а его отсутствие. Нулевая точка, с которой должно было начаться всё заново.

Первый иероглиф лёг на бумагу — резкий, как удар топора.

Решительно!

Бумага, казалось, вздрогнула под этим напором. Она писала не слова — она ковала их. Каждый иероглиф был солдатом, марширующим в бой. Каждая линия — ударом, каждая точка — каплей яда для врага.

Радикально!

Целиком и полностью!

Она не чувствовала ни злости, ни ненависти. Только холодный, чистый огонь праведности. Это было не разрушение, а очищение. Она выкорчёвывала сорняки, чтобы дать расти чистому, алому цветку. Монстры, которых она уничтожала, имели человеческие лица, они пили с ней чай в учительской, они здоровались с ней в коридорах. Но это были

лишь маски. Под ними — ревизионисты хрущёвского толка, черви, подтачивающие великое древо.

Вся её жизнь, все прочитанные книги, все бессонные ночи — всё это вело к этому моменту, к этому листу бумаги. Это было её главное произведение.

Уничтожим!

Когда последний иероглиф был написан, она отступила на шаг. Рука её дрожала, но не от страха, а от прошедшей через неё колоссальной энергии. Она смотрела на своё творение. На чёрные, угловатые знаки, застывшие на белом поле. Для кого-то это были слова ненависти. Для неё — это была поэма. Гармоничная, выверенная, страшная в своей правоте.

Она создала свой «Чёрный квадрат». И он был прекрасен.

Глоссарий:

Ёсано Акико (与謝野 晶子) — японская поэтесса. Настоящее имя — Хо Сё (7 декабря 1878 года — 29 мая 1942 года). В эпиграфе используется адаптированный текст её стихотворения «Трусость» в переводе Веры Марковой.

Мэй Линь, Чэнь Ван, Сергей Морозов и Ён Джу — герои микроромана «Дорога в тысячу лет».

И пинь го — «Первоклассный горшочек» — небольшой семейный ресторан в районе Сичэн в западной части Старого города. Работает с 1983 года.

Гохуа (国画) — традиционная китайская живопись. Сочетает в себе эстетику каллиграфии, поэзии и живописи, соединяя в себе сразу несколько художественных образов.

Хай Хон Линь — «Радужный лес» — жилой комплекс в районе Сичэн построенный в начале XXI века. С начала 2000-х годов в районе проводились масштабные работы по сносу ветхих зданий, переносу старых фабрик и озеленению урбанизированной территории.

Синь Вэньхуа — «Новая культура» — еженедельное издание основанное в 1952 году. Тираж еженедельника составляет около 120 тысяч экземпляров.

Мемориал жертвам «Нанкинской резни» — построен в 1985 году и расширенный в 1995 году. Мемориал расположен в Цзяндунмэн, в одном из мест массового захоронения жертв.

Тяньаньмэнь (天安门广场) — площадь в центре Пекина, традиционно считается символическим сердцем китайской нации. С 15 апреля по 4 июня 1989 года стала центром студенческих протестов.

Дацзыбао (大字报) — рукописная стенгазета в Китае, используемая для пропаганды, выражения протеста и т. д. 1 июня 1966 года после прочтения по радио дацзыбао, сочинённого Не Юаньцзы (聶元梓), аспиранткой и преподавательницей философии пекинского университета: «Решительно, радикально, целиком и полностью искореним засилье и зловредные замыслы ревизионистов! Уничтожим

монстров — ревизионистов хрущёвского толка!» — миллионы школьников и студентов организовались в отряды хунвэйбинов и начали выискивать подлежащих искоренению «монстров и демонов» среди своих преподавателей, университетского руководства, а затем среди местных и городских властей. Это стало первым этапом «Культурной революции».

«Чёрный квадрат» — супрематическая картина Казимира Малевича, созданная в 1915 году. Это одна из самых известных картин в мировом искусстве.

Книга третья. Река

Предисловие

Из архива газеты «Шэньбао», Шанхай. Декабрь, 1946 год.

ЗАЛ СУДА, ГДЕ СУДЯТ НЕ ЛЮДЕЙ, А САМУ ВОЙНУ

Репортаж нашего специального корреспондента Лю Фэна с Нанкинского процесса по делу о военных преступлениях.

Нанкин, 4 декабря. — В зале бывшего Министерства связи, где сегодня вершится правосудие, воздух неподвижен и тяжёл, как непролитая слеза. Здесь, под пристальными взглядами судей и безмолвным оком истории, разворачивается последний акт трагедии, имя которой — Нанкин. На скамье подсудимых — генералы и офицеры, чьи имена ещё недавно вселяли ужас. Но сегодня наше внимание приковано не к ним, а к тем, кто проходит свидетелями, — к обычным солдатам, чьими руками и совершались злодеяния.

Обвинители зачитывают списки жертв, показывают фотографии, приводят свидетельства выживших. Цифры звучат, как удары молотка. Десятки тысяч. Сотни тысяч. Но когда на трибуну поднимаются они, подсудимые, в их голосах нет ни раскаяния, ни злобы. Только усталость и недоумение. Их показания, монотонные, лишённые эмоций, сливаются в один общий, безликий голос. Голос войны.

Прокурор задаёт вопросы. Сухие, протокольные. Ответы — такие же.

Рядовой первого класса Танака Кэндзи: «Приказ был — уничтожить всех, кто оказывает сопротивление. Но кто оказывал сопротивление? Как отличить солдата от крестьянина? Нам говорили, что они все — партизаны. Мы просто делали то, что нам приказывали... Да, мы входили в дома. Мы были голодны. Нас не кормили неделями. Иногда мы находили мешок риса, иногда — курицу. Это было счастье. О людях мы не думали. Мы думали о еде».

Сержант Ватанабэ Горо: «Нас учили, что китайцы — не совсем люди. Что они ниже нас. Нам показывали фильмы, где они мучают наших

пленных. Мы верили... Когда ты видишь, как твоего товарища убивают, что-то внутри ломается. Ты перестаёшь жалеть. Жалость — это роскошь. Мы были молоды. Мы пили много сакэ, когда удавалось его найти. Когда ты пьян, всё кажется проще. Ты не думаешь. Ты просто делаешь».

Младший лейтенант Судзуки Кэнтаро: «Дисциплина — основа армии. Нас учили: приказ командира — это воля Императора. Сомневаться в приказе — значит сомневаться в Императоре. Это было немыслимо. Когда майор Хасимото приказал очистить район у реки... Я передал приказ. Что ещё я должен был сделать?»

Рядовой Танака Дзиро: «Холод был страшный. У нас не было зимней формы. Мы жгли всё, что горело — мебель, двери, книги. Однажды нашли склад с углём, думали — повезло. А там прятались люди. Женщины с детьми. Сержант сказал... сказал, что уголь важнее. Что без тепла мы замёрзнем, а мёртвые солдаты не нужны Императору».

Младший лейтенант Ямагути Сигэру: «Я — солдат Императора. Мой долг — выполнять приказ. Мне приказали провести экзекуцию группы пленных у ворот Чжунхуа. Я провёл. Это была моя работа. Такая же, как чистить винтовку или маршировать на плацу. Чувствовал ли я что-то? Я чувствовал усталость. И хотел, чтобы всё это поскорее закончилось».

Сержант Накамура Ёсио: «Война — это война. Нас послали не на парад. Китайцы убивали наших в Тунчжоу, мы помнили это. Каждый дом мог быть ловушкой. Каждый житель — партизаном. Да, были эксцессы. Но покажите мне войну без эксцессов».

Когда прокурор спрашивает о конкретных приказах, Накамура отвечает:

«Приказы были ясные: подавить сопротивление, установить контроль, обеспечить безопасность наших частей. Как это сделать — решали на месте. Я солдат, а не философ».

Капрал Хирото Такамура: «Мы выполняли приказ. Приказ гласил — уничтожать всех пленных. Мы и уничтожали. Их было слишком много, чтобы кормить. Продовольствия не хватало даже нам самим».

«Мы выполняли приказ». Эта фраза звучит здесь чаще, чем удары судейского молотка. Она стала их щитом, их оправданием, их

единственной реальностью. Они говорят о массовых казнях так, будто речь идёт о прополке сорняков на рисовом поле.

Один из лейтенантов, давая показания против своего командира, князя Асаки, обронил фразу, от которой в зале стало холодно:

«Нам сказали, что китайцы — не совсем люди. Что они трусливы, коварны и не ценят собственную жизнь. Что убить их — это почти как убить животное. Поначалу было странно. А потом... потом привыкаешь. Перестаёшь видеть разницу».

«Привыкаешь». Это слово здесь — ключ ко всему. Они привыкли к виду крови. Привыкли к запаху смерти. Привыкли к собственному страху и к чужой боли. Война стала для них нормой, а мирная жизнь — чем-то далёким, почти забытым сном.

Они сидят перед судом, эти «простые солдаты», и в их глазах — пустота. Они не злодеи из древних легенд. Они — винтики огромной, бездушной машины, которая сначала лишила их человечности, а потом заставила отнимать её у других. И глядя на их спокойные, усталые лица, задаёшься вопросом: кого на самом деле судят в этом зале? Этих людей? Или ту идеологию, тот приказ, ту войну, которая превратила их в то, чем они стали?

Судьи и прокуроры слушают, делают пометки, задают вопросы. Но ответы всегда одни и те же: «Я был просто солдатом». «Я выполнял приказ». «Я не помню».

Продолжение следует.

Пролог

Стерильный воздух аэропорта Лукоу пах ничем — выверенной, искусственной пустотой дезинфекции. Ичиро Миядзаки прошёл таможенный контроль, опираясь на трость из светлого дерева, её гладкая рукоять была продолжением его собственной, высохшей руки. В его единственной маленькой сумке не было почти ничего: сменная рубашка, бритвенные принадлежности и маленький, затянутый выцветшим шнурком мешочек из тусклого шёлка. Он двигался медленно, как человек, который несёт внутри себя невидимый, но неподъёмный груз.

Такси несло его сквозь Нанкин. Город за стеклом был чужим, состоящим из стекла, бетона и неоновых иероглифов, наложенных поверх старых, серых шрамов. Но воздух, просачивавшийся сквозь щели, был тем же — влажным, с привкусом угольной пыли, сырой земли и чего-то сладковатого, неуловимого, как запах прелых листьев. Ичиро не смотрел на здания. Он вдыхал этот воздух, и память, спавшая десятилетиями, лениво пошевелилась на дне его души.

В безликой комнате отеля он первым делом достал из сумки шёлковый мешочек и поставил его на прикроватный столик. Внутри был пепел. Всё, что осталось от дома в Ситамати. От Юки. От Аямэ.

Он не знал, зачем приехал. Не мог объяснить это ни себе, ни тем, кто остался в Японии и давно перестал задавать вопросы. Он не был ни паломником, ни туристом, ни раскаявшимся преступником. Он был просто человеком, который однажды потерял всё и с тех пор жил, как живут камни на дне реки: не сопротивляясь течению, не надеясь на берег.

На следующий день он пошёл к Мемориалу. Геометрия скорби, отлитая в сером бетоне. Стена безмолвного крика, исписанная тысячами имён. Он шёл вдоль неё, и его трость отстукивала глухой, ровный ритм. Но он искал не имена — он искал отсутствие. Одно-единственное. Здесь, в этой земле, в этой братской могиле, среди тысяч безымянных для него теней, мог бы лежать Дайскэ. Но он знал: здесь похоронено всё, что когда-то было и его жизнью. Здесь, в этой братской могиле, лежит не только прах, но и память — чужая, не нужная никому, кроме него самого. Этот монумент был надгробием не для этого города. Он был надгробием для его, Ичиро, мира.

Он не молился. Он просто стоял, слушая, как ветер гонит по плитам прошлогодние, сухие листья, и думал о том, что река, в конце концов, примет всех — и виновных, и невиновных, и тех, кто просто оказался не на той стороне.

Молодая китайка фотографировала стену. Щёлкнула затвором рядом с ним, извинилась на китайском. Он кивнул. Она не знала, кто он. Для неё — просто усталый старик с тростью. Турист. Один из многих.

И вот он здесь, на набережной. У кромки великой реки Янцзы. Ветер, пришедший с воды, был по-зимнему холодным, но уже нёс в себе обещание весны. Он пах речным илом и цветущей сливой. На старых, корявых деревьях доцветала мэйхуа, и ветер срывал блекло-розовые, почти прозрачные лепестки, кружил их в воздухе и опускал на серую, равнодушную воду. Ичиро Миядзаки сел на холодную скамейку. Рука в кармане пальто сжимала шёлковый мешочек. Он приехал, чтобы развеять их прах здесь. Может быть. Он ещё не решил. Он приехал не каяться. Покаяние — для тех, кто верит, что слова могут изменить прошлое. Он приехал сюда потому, что это было единственное место на земле, где его память ещё была жива. Река видела всё. Она помнила лицо Дайскэ, как он смеялся в тот день, когда готовил настоящий обед. В ней, в реке, в её мутной, вечной воде, его собственная история ещё не превратилась в пепел. Он смотрел, как река несёт лепестки, как вода и время несут всё, что в них попадает. Он был здесь чужим. Гостем в городе, который он когда-то помогал разрушать. Но река не была чужой. Она была зеркалом, в котором отражалось небо и его пустота. Пустота, в которой не было ни прошлого, ни будущего, ни даже самого себя.

Зачем он здесь? Ответа не было. Только ветер, только река, только падающие лепестки. И память — единственное место, где Дайскэ всё ещё улыбался, где Юки играла на кото, где Аямэ делала первые шаги.

Он сидел на скамейке, старик с тростью, и смотрел на реку. Не для покаяния пришёл — река не исповедник. Не для прощения — мёртвые не прощают. Просто пришёл. К единственному месту, где его прошлое ещё дышало. Где декабрь тридцать седьмого не кончился. Где он всё ещё был молодым солдатом, а Дайскэ — живым.

Солнце клонилось к закату. Пора было возвращаться в гостиницу. Но он не двигался. Сидел и смотрел, как светлые лепестки кружатся над серой водой. Он ждал, когда река заберёт и его отражение.

Часть первая

Глава первая

В тот день, когда ему исполнилось пять, мир раскололся. До этого он был цельным, тёплым и принадлежал ему целиком, как внутренность

бумажного фонаря принадлежит свету свечи. Он был императором этого маленького мира, сотканного из запаха татами, скрипа половиц и тихого голоса матери, напевающей колыбельную. Всё вокруг было продолжением его самого: солнечный луч на стене, муравей, ползущий по веранде, вкус рисового пирожного на языке.

Наказание пришло внезапно, как летняя гроза. Он не помнил своей вины, только ощущение липкого стыда и жара, залившего щёки. Он разбил чашку, кажется. Или просто плакал слишком громко. Отец вошёл в комнату, и его тень упала на пол, перечеркнув солнечный квадрат. Он не кричал. Его голос был ровным и холодным, как вода в зимнем колодце.

— Ты больше не император, Ичиро, — сказал он, и эти слова были не объяснением, а приговором.

Маленький император — так его называли всегда. С первого крика, с первого шага. Он был центром их маленькой вселенной; солнцем, вокруг которого вращались планеты родительской любви.

— Император только один, — продолжил отец. — Его имя — Хирохито. А ты — его будущий воин. Его самурай.

Ичиро посмотрел на мать. Она сидела в углу, опустив глаза, её руки были сложены на коленях, как две испуганные птицы. Она молчала. И в этом её молчании было согласие, более твёрдое и бесповоротное, чем слова отца. Мир, который был его, вдруг отшатнулся, стал чужим, обрёл острые, холодные края.

Потом отец протянул ему меч — гэндайто. Он был из светлого, гладко отполированного дерева, но казался неподъёмно тяжёлым. На клинке, вдоль линии хамон, неумелой, но старательной рукой выжжены иероглифы — имя, которое он только учился писать. Имя Императора. Рукоять меча была слишком большой для его ладони, холодной и чужой. Он взял его, и пальцы сомкнулись на дереве, но не почувствовали тепла. Он впервые ощутил этот холод, исходящий не от предмета, а изнутри. Холод одиночества.

Он с трудом удержал его, и острие ткнулось в циновку.

— Научишься держать. Меч это душа воина, — сказал отец. — Каждое утро будешь упражняться. Сто взмахов. Без пропусков.

— Но я...

Удар пришёлся по щеке — не сильный, но резкий, как щелчок бича. Ичиро не заплакал. Не от храбрости — от изумления. Отец никогда не бил его раньше.

— Самурай не говорит «но», — голос отца был ровным, как поверхность воды. — Самурай говорит «хай». Понял?

— Хай, — прошептал Ичиро.

С того дня всё изменилось. Игры кончились. День был расписан, как карта военного похода. Подъём с первыми лучами. Обливание ледяной водой. Заучивание имён предков и подвигов героев. Отец, мелкий чиновник с усталыми глазами и прямой, как палка, спиной, видел в нём не сына, а проект. Проект верного солдата, чья жизнь будет принесена в дар нации.

Вечерами, когда дом затихал, Ичиро лежал на своём футоне и смотрел на деревянный меч, стоявший у стены. Лунный свет скользил по его клинку, и вырезанные иероглифы, казалось, светились изнутри. Меч был его единственным собеседником, его тенью, его будущим. Я больше не император, — думал он. — Я солдат.

Однажды, во время военного парада, на который его повёл отец, он увидел настоящий гэндайто. Он висел на поясе у молодого, красивого офицера с безупречной выправкой. Стальной клинок сверкнул на солнце, и этот холодный, смертоносный блеск ослепил Ичиро. Сталь, холодная, совершенная, с голубоватым отливом, сияла как зимнее небо перед снегом. Рукоять была обмотана белой кожей ската, а цуба сияла тусклым золотом. Он понял: его деревянный меч — лишь бледная копия, личинка. А вот это, стальное, живое, способное забирать жизнь, — это и есть подлинная, совершенная красота. Красота, в которой нет ничего лишнего — ни тепла, ни сомнений, ни жалости. Только чистота функции. С того дня его собственный деревянный меч перестал казаться ему тяжелым и чужим. Он стал казаться ему прекрасным в своей незавершённости. Он был обещанием той идеальной, стальной красоты, к которой теперь стремилась его душа.

Но тогда, по ночам, он ещё слышал, как за тонкой перегородкой тихо плачет мать. А утром она снова была безмолвной и покорной, и её руки, подававшие ему миску с рисом, были такими же холодными, как рукоять его деревянного меча. Дисциплина стала его второй кожей. Она защищала от боли, от мыслей, от самого себя. И когда он пошёл в школу, оказалось, что он готов к ней лучше других. Он уже умел молчать, терпеть и подчиняться. Он уже умел быть мечом.

Глава вторая

Школа была не зданием, а садом камней. Каждый ученик — камень, который учитель обтёсывал ударами указки, резкими окриками и холодным, оценивающим взглядом. Целью было не знание. Целью была форма. Идеальная, гладкая, лишённая индивидуальности форма камня, который станет частью безупречной композиции Великой Японской Империи.

Учитель Танака был человеком без возраста — ему могло быть и тридцать, и пятьдесят. Лицо его было маской, высеченной из камня, а голос — инструментом, настроенным на одну ноту: абсолютное подчинение.

— Бусидо, — говорил он, и это слово в его устах звучало не как путь, а как приказ. — Путь воина. Но что есть воин без Императора? Ничто. Пыль. Ваша жизнь принадлежит не вам. Она принадлежит Японии. Императору. Небу.

Он говорил, а за окном цвела сакура — нежная, невозможная в своей красоте. Лепестки падали, как снег, как пепел, как обещание скорой смерти. В этом была поэзия, извращённая и прекрасная одновременно. Смерть как высшее проявление жизни. Падение как полёт.

— Самурай древности служил своему даймё, — продолжал Танака, расхаживая между рядами. — Но вы — вы служите высшему даймё. Императору. Богу во плоти. Сомневаться в его воле — всё равно что сомневаться в восходе солнца. Самурай не плачет. Самурай не жалеет ни себя, ни других.

— Жизнь человека, — чеканил он, и слова его падали в тишину класса, как железные опилки, — легче пёрышка. Жизнь воина — это пёрышко, летящее в топку великой славы нашего божественного Императора. Долг — вот единственная тяжесть, которую вы должны ощущать. Жалость и страх — это ржавчина на клинке.

Наказания были частью учёбы. За опоздание — стоять на коленях час, держа над головой ведро с водой. За неправильный ответ — удар бамбуковой палкой по ладоням. За слёзы — удвоенное наказание. Боль стала языком, на котором говорила школа. Но хуже боли было унижение. Заставляли ползать на четвереньках, лаять, как собаки. Есть с пола. Чистить уборные голыми руками.

— Гордость — враг воина, — говорил Танака, наблюдая, как мальчик из хорошей семьи, рыдая, оттирает пол. — Сломайте её. Растопчите. Только в грязи рождается истинная чистота духа.

Ичиро переносил всё это с холодным, отстранённым спокойствием. Его тело уже привыкло к боли, а душа научилась прятаться в самый дальний, тёмный угол, оставляя на поверхности лишь гладкую, непроницаемую оболочку.

Именно в этом саду камней он впервые увидел Дайскэ. Он появился в середине семестра, тихий, нескладный мальчик с глазами, в которых, казалось, отражалось небо другого, более мягкого мира. Он был не камнем. Он был комком сырой, податливой глины, на котором оставался след от каждого грубого прикосновения. Он не умел драться, его поклоны были неуклюжими, а на уроках муштры он всё время сбивался с ноги. Остальные мальчишки, уже обтёсанные, уже ставшие частью общей серой массы, игнорировали его. Он был дефектом, ошибкой в безупречной геометрии их строя. Они обходили его, как обходят лужу на дороге, с брезгливым равнодушием. Ичиро тоже игнорировал его. Но иногда, украдкой, он наблюдал за ним. Он видел, как Дайскэ, получив очередной удар указкой по рукам, не сжимал зубы, а тихо, почти незаметно, морщился, и в его глазах на мгновение вспыхивала не злость, а недоумение. Будто он никак не мог понять правил этой жестокой игры. Он был слишком живым для этого сада камней. И Ичиро, уже почти ставший камнем, смотрел на него со странной, холодной смесью

презрения и почти забытого, болезненного любопытства. Он был напоминанием о том, что Ичиро сам в себе так старательно убивал.

Однажды, когда учитель рассказывал о том, как самурай должен уметь умирать, Дайскэ поднял руку.

— А если не хочется умирать? — спросил он тихо.

В классе повисла тишина. Учитель посмотрел на него, как на соринку на белом кимоно.

— Значит, ты ещё не стал самураем, — сказал он. — Значит, ты ещё не понял, что такое честь.

На перемене его окружили.

— Эй, новенький, — старшеклассник Ямада ткнул его в грудь. — Покажи, что умеешь.

Дайскэ попятился. В его движениях не было ни грации, ни силы. Только страх и какая-то почти комичная неуклюжесть.

— Я... я не умею драться, — пробормотал он.

Смех был жестоким, режущим. Ямада замахнулся, и Дайскэ даже не попытался защититься. Просто закрыл глаза и ждал удара.

Удар не пришёл. Ичиро сам не понял, почему встал между ними. Может, потому что в этой покорности было что-то невыносимое. Может, потому что он увидел в Дайскэ себя — того себя, которого убил отец в день пятилетия.

— Оставь его, — сказал он тихо.

Ямада усмехнулся.

— Защитник нашёлся? Миядзаки хочет быть героем?

Драка была короткой. Ямада был старше, сильнее. Но Ичиро дрался с холодной яростью человека, защищающего не другого, а свою потерянную невинность. Когда учителя растащили их, у обоих были разбиты губы.

Наказание — неделя уборки туалетов. Для двоих. Для Ичиро и Дайскэ.

Они работали молча, бок о бок. На третий день Дайскэ вдруг сказал:

— Спасибо.

Ичиро пожал плечами.

— Не за что.

— Нет, правда. Никто раньше... — он замолчал, потом добавил: — Знаешь, мой отец говорит, что настоящее Бусидо — это не про смерть. Это про то, как правильно жить.

Ичиро посмотрел на него. В полумраке уборной лицо Дайскэ казалось почти призрачным.

— Твой отец ошибается, — сказал он.

Глава третья

После той недели в уборных что-то изменилось. Не сразу, не явно — как меняется свет перед рассветом, когда темнота ещё кажется абсолютной, но уже не такой плотной.

Дайскэ первым нарушил невидимую границу. После уроков, когда остальные расходились по домам или оставались на дополнительную муштру, он подошёл к Ичиро.

— Хочешь зайти к нам? Отец сегодня готовит унаги. Настоящего, на углях.

Ичиро хотел отказаться. Привычка к одиночеству была сильнее любопытства. Но запах угря, о котором говорил Дайскэ, вдруг показался ему реальнее всего, что окружало его в школе — реальнее портретов Императора, реальнее бамбуковых палок, реальнее заученных слов о долге.

— Хорошо, — сказал он.

Дом Ёсикавы находился в старом квартале, где улицы были узкими, как щели, а воздух пах дымом, соевым соусом и чем-то неуловимо домашним. Над входом висела выцветший норэн с иероглифом «вкус», написанным так, будто каллиграф танцевал, а не писал. Его дом пах иначе, чем дом Ичиро. Он пах не дисциплиной и полиролью для дерева, а теплом

очага, пряным ароматом бульона даси, имбирём и сладким соевым соусом. Семья Ёсикава была потомственными поварами, и их дом был храмом еды, а не храмом войны.

Внутри было тесно и жарко. Кухня занимала половину первого этажа, и отец Дайскэ — невысокий человек с руками, покрытыми мелкими ожогами, — колдовал над углями с сосредоточенностью хирурга.

— Это мой друг, Ичиро, — сказал Дайскэ.

Отец кивнул, не отрываясь от угля.

— Друг — это хорошо, — сказал он. — Мой дед говорил: «Хороший друг — как хороший нож. Редко встречается, но служит всю жизнь».

Из-за ширмы выглянула девочка лет семи — тонкая, с огромными глазами, в которых плескалось любопытство.

— Это Юки, — вздохнул Дайскэ. — Моя младшая сестра. Юки, не приставай.

Но она уже подбежала к Ичиро, держа в руках потрёпанную куклу в выцветшем кимоно.

— Хочешь поиграть? — спросила она. — Это принцесса Кагуя. Она живёт на Луне, но иногда спускается на Землю.

— Юки! — Дайскэ попытался оттащить её. — Мы не маленькие. Иди играй сама.

— Но одной скучно, — она надула губы. — А принцессе нужен принц. Или хотя бы самурай.

Ичиро смотрел на неё и чувствовал странное тепло в груди. Когда она в последний раз кто-то предлагал ему просто поиграть? Без условий, без скрытого смысла, без проверки на прочность?

— В другой раз, — мягко сказал он. — Обещаю.

Юки просияла, как будто он подарил ей целое королевство.

За ужином отец Дайскэ рассказывал о тонкостях приготовления риса — как важна температура воды, как нужно чувствовать момент, когда

снять крышку. Его руки двигались, иллюстрируя рассказ, и в этих движениях была та же точность, что в движениях мастера-каллиграфа.

— Еда — это не просто топливо, — говорил он. — Это язык. Способ сказать «я забочусь о тебе» без слов.

Ичиро ел медленно, стараясь запомнить каждый вкус. Дома его ждал пресный рис и молчание отца. Здесь же каждый кусочек был пропитан теплом, заботой, жизнью.

— Ичиро хочет служить в армии, — вдруг сказал Дайскэ. — Как его отец мечтает.

Отец Ёсикава кивнул, но в его глазах мелькнула тень.

— Служба — это честь, — сказал он осторожно. — Но помни, мальчик: меч режет в обе стороны.

После ужина они сидели на веранде. Юки устроилась между ними, прижимая к груди куклу. В небе загорались первые звёзды.

— Знаешь, — сказал Дайскэ, — я тоже думаю пойти в армию.

Ичиро удивлённо посмотрел на него.

— Ты? Но ты же...

— Не умею драться? — Дайскэ усмехнулся. — Научусь. Не все солдаты должны быть героями. Кто-то должен готовить рис. Кто-то должен... просто быть рядом.

— Зачем тебе это?

Дайскэ помолчал, глядя на звёзды.

— Мой дед был в армии. Не офицером — простым поваром. Но он говорил, что накормить голодного солдата — это тоже служба. Может, я не смогу держать меч. Но я смогу держать черпак. Буду кормить солдат, чтобы у них были силы защищать нашу страну. Защищать Юки.

Юки тем временем уже заснула, привалившись к плечу Ичиро. Её дыхание было лёгким, как дыхание птенца.

— Ты ей нравишься, — тихо сказал Дайскэ. — Обычно к чужим не подходит.

Ичиро осторожно поправил выбившуюся прядь её волос. В этом жесте была нежность, которую он думал, что потерял навсегда.

Когда он уходил, отец Дайскэ сунул ему в руки свёрток.

— Это онигири на завтра, — сказал он. — С умэбоси внутри. Кислое помогает проснуться.

По дороге домой Ичиро думал о странности этого вечера. О том, как легко оказалось быть просто мальчиком, а не будущим солдатом. О маленькой девочке с куклой, которая видела в нём не оружие, а возможного товарища по играм. О друге, который хотел служить не из жажды славы, а из желания заботиться.

Дома отец уже спал. Мать сидела у окна, штопая его школьную форму. Она подняла глаза, и в них был немой вопрос.

— Я был у друга, — сказал Ичиро.

Она кивнула и вернулась к шитью. Но уголки её губ чуть дрогнули — призрак улыбки, которую она почти забыла.

Той ночью Ичиро спал спокойно. Ему снились не мечи и не марши, а запах углей, вкус умэбоси и маленькая рука, доверчиво вложенная в его ладонь. Рука девочки похожей на маленького, любопытного воробья.

Они ещё не знали тогда — ни он, ни Дайскэ, — что через несколько лет окажутся на одном корабле, плывущем на запад. В одном взводе, в чужой, промёрзшей земле, где единственной едой будут холодные рисовые шарики, а единственной красотой — блеск штыка в лунном свете. Не знали, что дружба, рождённая в школьной уборной, пройдёт через огонь и кровь, через грязь окопов и холод чужой земли.

Тогда они ещё не знали, что война — это не игра, и что весна может закончиться в любой момент.

Глава четвертая

В тот год, когда пуля оборвала жизнь премьер-министра Инукаи, ветер, дувший над Японией, изменил своё направление. Он стал жёстче, холоднее, и в нём появился запах стали. Этот ветер ворвался и в их школу,

сорвав с неё последние остатки бывшего спокойствия. Дисциплина, и без того напоминавшая туго натянутую струну, натянулась до звона.

С того дня школа изменилась. Портреты Императора стали больше, взгляды учителей — жёстче, а в коридорах всё чаще мелькали военные мундиры. Офицеры приходили на уроки, рассказывали о славе империи, о священном долге, о том, что скоро — очень скоро — Япония займёт своё истинное место под солнцем.

Ичиро наблюдал за ними с холодным, почтительным любопытством. Он видел в них воплощение той стальной красоты, о которой мечтал с пяти лет. Их выправка была безупречна, их лица — непроницаемы, их движения — точны и экономны. Они были совершенными механизмами, созданными для одной цели. Они были тем, чем он хотел стать.

Учитель Танака ходил теперь с выражением человека, дождавшегося своего часа. На уроках он больше не говорил о древних самураях. Он говорил о новых героях — о тех, кто не побоялся пролить кровь ради чистоты идеи.

— Инукаи был стар, — говорил он, и в голосе его звучало презрение. — Он хотел мира с Западом. Мира! Как будто лев может договориться с овцами. Молодые офицеры поняли то, чего не понимают политики: иногда меч должен заговорить первым.

В классе было тихо. Даже Дайскэ, обычно смотревший в окно во время таких речей, сидел прямо, глядя на учителя. Но в его взгляде Ичиро видел не восхищение, а что-то похожее на страх.

Через неделю после убийства их вызвали к директору. Не только их — ещё пятерых лучших учеников. Они стояли в кабинете, выстроившись в линию, как солдаты на смотре. Директор — сухой человек с лицом, похожим на старый пергамент, — обвёл их взглядом.

Рядом с ним стоял офицер. Молодой, с острыми скулами и глазами, в которых не было ничего, кроме холодной оценки. Он смотрел на них, как смотрят на лошадей перед покупкой — изучая статью, проверяя зубы.

— Империи нужны новые воины, — сказал офицер, поправляя перчатку из тонкой белоснежной кожи. — Образованные, преданные,

готовые. Вам выпала честь продолжить обучение в кадетском корпусе префектуры.

Он сделал паузу, давая словам осесть.

— Миядзаки Ичиро, — он посмотрел прямо на него. — Из тебя выйдет отличный солдат. Твоя дисциплина, твоя преданность — это то, что нужно армии.

Ичиро поклонился. В груди было пусто. Ни радости, ни страха — только ощущение неизбежности, как будто он всю жизнь шёл к этому моменту.

— Ёсикава Дайскэ, — офицер перевёл взгляд. — Знаю, твой дед служил армейским поваром. Благородная традиция. Армия нуждается не только в воинах, но и в тех, кто будет их кормить. Ты продолжишь семейное дело.

Дайскэ поклонился. Ичиро краем глаза видел, как дрогнули его плечи. Всего на мгновение. Но офицер это заметил.

Директор в это время заискивающе улыбнулся:

— Это большая честь для нашей школы, майор. Большая честь.

— Есть возражения, кадет? — — продолжил офицер, игнорируя директора и глядя прямо на Дайскэ.

— Никак нет, господин майор, — ответил он. — Это честь.

— Именно, — офицер кивнул. — Честь, которую вы должны оправдать.

Когда они вышли из кабинета, остальные ученики смотрели на них с завистью и страхом. Кадетский корпус — это было одновременно возвышение и приговор. Возвышение над остальными. Приговор к службе.

Вечером Ичиро пришёл домой и сказал отцу. Тот долго молчал, глядя на него. Потом встал, подошёл к старому шкафу и достал свёрток, завернутый в белую ткань.

— Это был мой, — сказал он, разворачивая ткань.

Внутри лежал гунто — армейский меч. Не парадный, а рабочий, со следами использования на рукояти. Отец положил его перед Ичиро.

— Я так и не смог стать офицером, — сказал он тихо. — Но ты... ты сможешь. Ты станешь тем, кем я не стал.

В его голосе была гордость, но под ней — что-то ещё. Что-то, похожее на сожаление. Или на предупреждение.

Мать стояла в дверях, прижимая к груди кухонное полотенце. Она не плакала. Она просто смотрела на сына, как смотрят на уходящий поезд — зная, что он не вернётся.

В доме Ёсикавы царило молчание. Отец сидел за столом, уставившись в пустую чашку. Юки пряталась за ширмой, но Ичиро слышал её тихие всхлипы.

— Армейский повар, — наконец сказал отец Дайскэ. — Как дед.

— Это честь, — повторил Дайскэ слова из кабинета директора.

— Честь, — отец усмехнулся. — Знаешь, что говорил твой дед о своей службе? «Я кормил мальчиков, которые уходили умирать». Вот и вся честь.

Он встал, тяжело, как старик.

— Но выбора нет. Когда империя зовёт, мы отвечаем. Так было всегда.

Юки выбежала из-за ширмы и обняла брата за ноги.

— Не уходи, — прошептала она. — Кто будет со мной играть?

Дайскэ погладил её по голове.

— Я вернусь, — сказал он. — И привезу тебе новую куклу. Самую красивую.

Той ночью Ичиро лежал без сна, глядя на меч отца. Лунный свет скользил по лезвию, и в этом холодном блеске он видел своё будущее. Ясное, прямое, как линия клинка.

А в соседнем квартале Дайскэ тоже не спал. Он думал о деде, о его рассказах про армейскую кухню. О том, как важно сохранить в еде хоть

каплю тепла, хоть намёк на дом. «Иногда, — говорил дед, — тарелка горячего супа — это всё, что отделяет человека от зверя».

Утром они встретились у школьных ворот. Оба с небольшими узелками — всё, что разрешалось взять в корпус. Оба молчаливые, погружённые в свои мысли.

— Готов? — спросил Ичиро.

— А есть выбор? — ответил Дайскэ.

Они пошли к воротам. За спиной остались детство, дом, прежняя жизнь. Впереди ждала честь. Или то, что империя называла этим словом.

Глава пятая

Кадетский корпус пах карболкой, потом и сырой землёй плаца. Жизнь здесь подчинялась не смене дня и ночи, а ритму барабана. Удар — подъём. Удар — построение. Удар — отбой. Этот ритм проникал под кожу, в кровь, становился биением сердца. Индивидуальные имена стёрлись, заменённые номерами и фамилиями. Они больше не были мальчиками. Они были взводом, ротой, полком. Единым существом, где каждый — лишь клетка, подчиняющаяся общей воле.

Дни были неотличимы друг от друга, как серые камни на дне реки. Строевая подготовка. Часы, проведённые под палящим солнцем или ледяным дождём, оттачивая один-единственный навык — двигаться как один. Шаг в шаг. Поворот головы — одновременно. Стук сотен сапог о землю сливался в вязкий, гипнотический гул. Ичиро поначалу не понимал смысла этой бессмысленной, изнуряющей муштры. Ему казалось, что маршировка — это лишь репетиция парада, демонстрация красоты и порядка. Но только позже, много позже, в провинции Шаньси, он поймёт истинный смысл этих бесконечных маршей. Это было не о дисциплине. Это было о превращении их в единый организм, где потеря одной клетки означала боль для всего тела. Где твоя ошибка — это смерть товарища. Где нет «я», есть только «мы». Их превращали из россыпи камней в монолитную, несокрушимую стену, где выпадение одного камня не нарушит целостности. Их тела связывали невидимыми нитями, чтобы потом, в бою, они двигались и умирали как одно целое.

Настоящего оружия не было. Вместо винтовок — тяжёлые, гладко обструганные деревянные палки, которые натирали плечи до крови. Вместо мечей — всё те же боккэны, что и в школе. Но теперь в каждом взмахе, в каждом выпаде была не игра, а репетиция убийства. Они кололи штыками соломенные чучела, и крик «Банзай!», вырывавшийся из сотен глоток, был не просто кличем, а выдохом, освобождающим от остатков человечности.

Вечерами, в тускло освещённой аудитории, им показывали карту мира. Она была похожа на лоскутное одеяло, которое нужно было сшить в единое целое.

— Хакко итиу, — говорил инструктор, человек с перебитым носом и шрамом на щеке. Его голос был хриплым, как у старого пса. — «Восемь углов мира под одной крышей». Наша крыша — это крыша дома Ямато. Наша божественная миссия — собрать эти углы, принести свет и порядок диким народам Азии. Создать Великую восточноазиатскую сферу процветания.

На экране мелькали кадры кинохроники: улыбающиеся японские солдаты, дающие еду китайским детям Маньчжоу-го; благодарные корейцы, машущие флагами с восходящим солнцем. А потом — другие кадры: жестокие белые колонизаторы, избивающие туземцев; коварные китайские генералы, торгующие опиумом. Мир был простым, как удар штыка. Свет и тьма. Мы и они.

В этом мире, выстроенном из дисциплины, боли и пропаганды, Дайскэ, к удивлению Ичиро, не сломался. Наоборот, он нашёл своё место. Кадеты, измученные муштрой, униженные офицерами, лишённые дома и тепла, тянулись к нему, как к слабому, но единственному источнику света. По воскресеньям, когда разрешались свидания с родными, плац наполнялся запахами домашней еды. Матери и сёстры приносили свёртки с онигири, жареной рыбой, сладкими бобами. И здесь начиналось таинство Дайскэ. Он собирал все припасы в общий котёл. Его руки, неуклюжие с винтовкой, здесь обретали свою магию. Он крошил, смешивал, добавлял щепотку соли, каплю соуса, которые умудрялся где-то достать. И из разнородных, скудных припасов он создавал нечто общее. Не просто еду — ужин. Ритуал, который на час возвращал их

домой. Он делил всё поровну, следя, чтобы каждый получил свою долю. И в этот момент он был не слабым кадетом Ёсикавой. Он был хранителем очага их маленького, измученного братства. Ичиро смотрел на него и видел, как тот, кого он когда-то защищал, теперь сам стал защитником. Он защищал их от голода, от отчаяния, от окончательного превращения в безликие винтики военной машины.

Дайскэ стал их незаменимой частью. Их общей тайной. Их маленьким, тихим бунтом против бездушного ритма барабана. Бунтом, выраженным во вкусе солёной сливы внутри рисового шарика...

Левой-правой. Левой-правой. В ногу. Всегда в ногу. До самого конца.

Часть вторая

Глава первая

Война пришла не как буря, а как затяжной, ледяной дождь, который сначала кажется просто сыростью, а потом проникает в кости, в мысли, в сны. Всё, что было до этого — муштра, строевая, крики инструкторов, даже запахи готовки Дайскэ — растворилось в одном длинном, вязком мгновении.

Горы Шаньси встретили их холодом, который вгрызался в кости, как голодная собака. Сентябрьское солнце здесь было обманчивым — яркое, но без тепла, как улыбка мертвеца. 5-я дивизия двигалась по узкому ущелью, растянувшись змеей между скал, и эта змея была слепой, глухой, уверенной в своей неуязвимости.

Воздух был тонким и холодным, он пах камнем и полынью. Тишина была такой плотной, что, казалось, её можно было резать ножом. Слишком плотной. Ичиро чувствовал её кожей, как чувствуют близость грозы. Он шёл плечом к плечу с Дайскэ, и их дыхание, вырывавшееся белыми облачками, было единственным движением в этом застывшем мире.

А потом тишина взорвалась. Звук пришёл не снаружи. Он родился внутри головы Ичиро, как рождается крик. Мир вокруг него распался на миллионы дрожащих осколков, как отражение в воде, в которую бросили камень. Время остановилось, а потом потекло вспять, закручиваясь в тугую, головокружительную спираль.

Почва под ногами вздыбилась, как спина разбуженного дракона. В небо взметнулись фонтаны чёрной земли, и в них, как лепестки диковинных, хищных цветов, расцвели алые хризантемы. Они были невыносимо прекрасны в своей мгновенной, яростной жизни. Ичиро видел, как одна из таких хризантем распустилась там, где только что стоял кадет Ямамото. Он не видел тела, не слышал крика. Он видел лишь совершенную, симметричную красоту алого цветка на фоне серого неба. Он видел, как пуля входит в грудь солдата впереди — аккуратно, почти нежно, как игла в шёлк. Видел, как тот падает, и падение его длилось целую вечность, каждый сантиметр пути отмечен в воздухе, как след

кисти на свитке. Видел, как из раны вырывается красный цветок — яркий, невозможный в своей красоте, распускающийся лепесток за лепестком.

Воздух наполнился густым, настойчивым жужжанием, будто тысячи металлических стрекоз вылетели на охоту. Они танцевали в воздухе, оставляя за собой тонкие, невидимые нити. Одна из таких стрекоз пропела у самого уха Ичиро, и он почувствовал на щеке тёплое, липкое прикосновение. Он видел, как бывшие кадеты вокруг него начинают свой странный, нелепый танец. Они падали, вздрагивали, замирали в неестественных позах, будто неумелые марионетки, у которых оборвались нити.

В голове у Ичиро кружился хоровод из воспоминаний, которые ему не принадлежали. Запах маминых духов смешивался с запахом пороха. Вкус онигири с солёной сливой — с привкусом железа на языке. Лицо Юки с куклой в руках накладывалось на искажённое гримасой лицо лейтенанта, у которого вместо глаза был ещё один алый цветок. Он пытался поднять винтовку, но руки были чужими, ватными, они не слушались. Он был зрителем в театре, где разыгрывали пьесу, написанную на незнакомом ему языке.

И сквозь этот калейдоскоп безумия он почувствовал руку на своём плече. Сильную, твёрдую. Она тащила его, вырывая из этого прекрасного и страшного сна. Это был Дайскэ. Его лицо было забрызгано грязью и чем-то тёмным, но глаза были ясными, трезвыми. В них не было ни красоты, ни ужаса. Только упрямая, животная воля к жизни.

Он вытащил Ичиро из этого ущелья, из этого театра теней, и бросил на землю за большим валуном. Ичиро лежал на холодной земле, и мир медленно собирался обратно из осколков, обретая привычные, уродливые формы. Алые хризантемы исчезли, оставив после себя лишь разорванные тела. Танец стрекоз прекратился, оставив тишину, в которой были слышны лишь стоны.

Они были одними из немногих, кто выжил. Остатки их взвода, когда-то гордости кадетского корпуса, теперь были просто группой грязных, испуганных мальчишек в изорванных мундирах. Их отправили в Бэйпин. На переформирование.

Они брели по пыльной дороге, и Ичиро, чья голова всё ещё гудела, как растревоженный улей, опёрся на плечо Дайскэ.

— Спасибо, — прохрипел он. — Ты... ты стал настоящим воином, Дайскэ.

Дайскэ криво усмехнулся. В его глазах не было ни гордости, ни радости. Только бесконечная, смертельная усталость.

— Я просто не хотел умирать от голода в этом проклятом ущелье, — он помолчал, глядя на серое небо. — Надеюсь, в Бэйпине нас накормят и дадут передохнуть. Я так устал есть холодный рис. И дадут поспать.

Ичиро посмотрел на его лицо и впервые увидел в нём не друга-повара, не хранителя очага. Он увидел человека, который заглянул в ту же пустоту, что и он. И эта общая пустота связала их крепче, чем любая присяга.

Глава вторая

Отдых в Бэйпине был коротким, как вдох между двумя командами. Вчерашние раны ещё не затянулись, а уже снова пахло карболкой, потом и сырой землёй плаца. Армейская муштра вернулась, как лихорадка: подъём до рассвета, строевая, крики сержантов, тяжесть винтовки на плече. Но теперь к ним присоединились новые лица — мальчишки, у которых за спиной не было даже кадетской школы. Их глаза были слишком большими, а руки — слишком тонкими для оружия. Они смотрели на выживших, как на героев, как на людей, которые уже перешли через реку, где вода становится чёрной. В их взглядах читалось: «Научите нас умирать так же красиво». Для них Ичиро и его товарищи были уже не людьми, а легендой.

Ичиро видел себя в них — себя прежнего, до ущелья, до алых хризантем. Они ещё верили в красивую смерть, в славу, в то, что война — это продолжение поэзии другими средствами. Дайскэ молча кормил их, добавляя в рис чуть больше соли, чем обычно, словно пытаюсь приправой заглушить горький вкус будущего. В их взглядах было что-то от щенков, которых только что отняли от матери.

Чтобы приободрить и подготовить новобранцев, генерал Итагаки устроил для них встречу с двумя офицерами — лейтенантами Тосиаки Мукаи и Цуёси Нода. Они появились на плацу, как герои из старых легенд: высокие, уверенные, с лицами, на которых не было ни страха, ни усталости. Их мундиры были безупречно выглажены, а мечи — отполированы до зеркального блеска.

— Мы сражались вместе, — начал Мукаи, его голос был звонким, как медь. — И решили проверить, кто из нас — настоящий самурай. Кто сможет убить больше врагов в рукопашной.

Он говорил об этом так, будто рассказывал о состязании по стрельбе из лука на школьном празднике.

— Сначала я был впереди, — продолжал он, — но потом Нода догнал меня. Мы шли плечом к плечу, как два тигра в бамбуковой роще. Каждый удар меча — как вспышка молнии, каждый крик — как раскат грома.

— Я помню, — подхватил Нода, — как кровь летела на снег, как лепестки сакуры в апреле. Мы не считали удары, мы считали только честь.

— В тот день, — добавил Мукаи, — я убил сто пять человек. Нода — сто шесть.

Он улыбнулся, и в этой улыбке было что-то от мальчишки, который хвастается новой игрушкой.

— Но главное — не число, — сказал Нода. — Главное — быть достойным меча. Быть достойным Императора.

Новобранцы слушали, затаив дыхание. В их глазах эти офицеры были не людьми, а живыми легендами, воплощением того, чему их учили с детства: честь, долг, слава.

Ичиро смотрел на них и думал, что в их рассказах было что-то неестественное, как в старых сказках, где герои всегда побеждают, а кровь — не кровь, а красная тушь на свитке.

«Убивать мечом — это искусство, — когда-то говорил их инструктор в кадетском корпусе, цитируя какого-то древнего мастера. — Труднее всего — первый удар. Потом — легче. А потом... потом ты просто перестаёшь считать. Это становится работой».

И он вспомнил слова старшего офицера, Синтаро Уно, который однажды, в редкий момент откровенности, сказал:

— В бою всё иначе. Там нет ни чести, ни красоты. Там есть только страх и усталость. Всё остальное — для газет.

Спектакль закончился. Генерал Итагаки снова вышел вперёд.

— Вы видели настоящих героев, — прогремел его голос. — Скоро и вам выпадет такая честь. Через два дня вы будете в Нанкине.

Новобранцы взревели «Банзай!». Их крик был полон юношеского восторга и жажды подвига. Ичиро молчал. Он смотрел на спины лейтенантов, уходивших с плаца. Они казались ему не героями, а жрецами какого-то тёмного, кровавого культа. И он, вместе со всеми, был лишь агнцем, которого вели на заклание на алтарь этого культа. Но разница была в том, что он, в отличие от других, уже чувствовал на шее холод жертвенного ножа.

Вечером, когда плац опустел, Ичиро долго сидел на ступенях казармы, глядя на свои руки. Они дрожали — не от страха, а от усталости. Он думал о том, что впереди — город, который уже стал легендой, хотя они ещё не ступили на его улицы. Он думал о том, что в легендах всегда есть место подвигу, но редко — правде.

Дайскэ сел рядом, протянул ему миску с горячим рисом.

— Съешь, — сказал он. — В Нанкине, говорят, будет голодно.

Ичиро взял миску, вдохнул пар, в котором смешались запахи сои, лука и чего-то неуловимо домашнего. Он подумал, что, может быть, настоящая храбрость — это не убить сто врагов, а просто не забыть вкус горячего риса в холодную ночь.

Два дня. Всего два дня до Нанкина.

Глава третья

Они вошли в Нанкин, когда агония города уже сменилась трупным окоченением. Они не были первыми. Другие дивизии уже прошли здесь, как саранча, оставив после себя выжженную, выпотрошенную землю. Улицы были похожи на вскрытые вены, из которых вытекла вся жизнь. Они

видели то, что видели, и не удивлялись. Удивление — это роскошь для тех, кто ещё способен различать границу между кошмаром и явью. Мир вокруг был картиной, написанной безумцем, и они сами стали её частью.

Воздух был плотным, как войлок, пропитанным запахом гари, нечистот и тем сладковатым, приторным духом, который Ичиро научился узнавать, но так и не научился называть.

Грабёж стал рутиной. В каждом доме — пустые сундуки, разбитая посуда, иногда — забытая миска с рисом, уже покрытая плесенью. Иногда — что-то ценное, что можно обменять на сигареты или лишний кусок хлеба. Но чаще — только пустота. Они тоже грабили. Но искали не шёлк и не фарфор. Они искали еду. Голод стал их единственным командиром, более властным, чем любой генерал. Он грыз изнутри, превращая людей в стаю голодных волков.

Однажды днём, когда серое небо давило на город своей тяжестью, в их расположение прибежал один из новобранцев. Его глаза горели лихорадочным, безумным блеском.

— Еда! — задыхаясь, кричал он. — Мы нашли! Настоящая еда! Свинина! Есть даже овощи!

Солдаты оживились. Слово «свинина» прозвучало как заклинание, как обещание рая. Ичиро пошёл с ним. Они свернули в узкий переулок, к маленькому дому с разбитой черепичной крышей.

— А хозяева? — спросил Ичиро, сам не зная, зачем. Вопрос был бессмысленным, как вопрос к тайфуну.

— Они там, — новобранец махнул рукой в сторону двора. — В яме. Прятались.

Он усмехнулся. В этой усмешке не было жестокости. Было лишь извращённое, мальчишеское хвастовство.

Ичиро заглянул во двор. У стены была вырыта яма, прикрытая старыми досками. Из-под них доносился тихий, сдавленный плач. Он подошёл ближе. Отодвинул одну из досок прикладом винтовки. Внизу, в темноте, сбившись в кучу, сидели люди. Женщины, старики. Их лица были белыми от ужаса, как маски театра Но. Среди них он увидел девочку. Лет

десяти. Она не плакала. Она смотрела на него снизу вверх огромными, тёмными глазами, в которых не было ни страха, ни ненависти. Только тихое, всепоглощающее недоумение. Он опустил в яму ствол винтовки. Просто так. Без злобы. Так, как отмечают вещь, чтобы не потерять. Штык ткнулся во что-то мягкое. В ногу девочки. Она не вскрикнула. Только тихо ахнула, и её мать, сидевшая рядом, судорожно прижала её к себе, что-то шепча. Ичиро смотрел в её глаза ещё мгновение. Потом вытащил винтовку и отошёл. Он не чувствовал ничего. Ни удовлетворения, ни жалости. Лишь холодное, металлическое любопытство. Он был учёным, ставящим эксперимент над насекомыми.

Вечером у них был праздник. Дайскэ, чьё лицо впервые за много дней ожило, колдовал над полевой кухней. В большом герметичном котле, который они притащили из города, тушилось мясо, распространяя божественный аромат — жирный дух свинины. Рядом Дайскэ резал найденные овощи, и в его движениях снова появилась та забытая грация повара. Он улыбался.

— Сегодня мы будем есть как люди, Ичиро, — сказал он. — Как дома.

Солдаты столпились вокруг, жадно вдыхая запах, их глаза блестели. Это был островок тепла и жизни посреди мёртвого города.

И тут Ичиро увидел.

Время замедлилось, как тогда в ущелье. Он видел, как на котле, раздутом от пара, начинает расползаться шов. Тонкая линия, похожая на улыбку безумца. Металл вспучивался, готовый лопнуть.

Ичиро открыл рот, чтобы крикнуть. Но звук застрял в горле. Он стоял, парализованный, и смотрел, как шов расходится, как из него с шипением вырывается пар, а следом — фонтан кипящего жира вперемешку с рисом и мясом.

Он смотрел на Дайскэ. Но он не слышал его крика. Он только видел его — крик — беззвучный, как на испорченной киноплёнке. Видел, как Дайскэ падает, как его одежда расползается, прикипая к коже. Пузыри на его спине лопались, обнажая розовую, влажную плоть под ней – жуткий цветок, распустившийся на поле смерти. Это было отвратительно. Это было прекрасно.

Никто не бросился к нему. Все отшатнулись от этого фонтана кипящей смерти. Потом всё стихло. Дайскэ лежал на земле. Он уже не кричал. Он тихо стонал, и эти стоны были страшнее любого крика. Ичиро подошёл к нему. Он смотрел на то, что только что было лицом его друга. И не чувствовал ничего. Абсолютно ничего. Пустота внутри него стала бездонной. Она поглотила и этот запах, и эти стоны, и это воспоминание. Он отвернулся и пошёл прочь. В тишину. В ничто.

Глава четвертая

Зима в том году не хотела уходить. Даже в Токио воздух был колким, а небо — цвета выцветшего шёлка. Ичиро ехал в отпуск, но не чувствовал радости. Отпуск был не наградой, а паузой, запятой в предложении, конец которого был уже написан.

В доме его родителей ничего не изменилось. Тот же запах полированного дерева и застарелого молчания. Отец смотрел на него с новой, почтительной гордостью. Он видел не сына, а солдата, вернувшегося с войны. Он расспрашивал о боях, о славе, но Ичиро отвечал односложно. Слова застревали в горле, как рыбы кости. Он не мог рассказать о настоящей войне. О запахе. О тишине. О молчании котла. Мать смотрела на него с тихой, затаённой болью. Она видела, что пустота в его глазах стала глубже, чем раньше. Он только ночевал у них. Его дом теперь был в другом месте.

Он пошёл к Ёсикава. Он нёс с собой маленький узелок с вещами Дайскэ: потрёпанную записную книжку с рецептами, которые тот так и не успел приготовить, несколько писем от сестёр и набор кухонных ножей в деревянном футляре — тех самых, что дал ему отец перед отправкой. В другом свёртке, казённом, лежали посмертные награды: Букокиё третьей степени, и маленькая серебряная рюмка для сакэ с выгравированной хризантемой. Вещи были лёгкими, почти невесомыми, но нести их было тяжелее, чем винтовку.

Дверь ему открыла Юки. Он почти не узнал её. Она выросла. Из озорной девчонки с куклой превратилась в девушку — тихую, с опущенными глазами, в скромном сером кимоно.

— Ичиро-сан, — прошептала она, кланяясь. — Проходите.

В доме пахло ладаном и горем.

Отец Дайскэ постарел, ссутулился, его руки, когда-то уверенно державшие нож, теперь безвольно лежали на коленях. Ичиро молча положил перед ним узелки. Развязал их. Отец долго смотрел на ножи, потом осторожно коснулся пальцем холодного лезвия. Он не плакал. Его горе было сухим, как пепел.

— Он был хорошим мальчиком, — сказал он, глядя не на Ичиро, а куда-то сквозь него. — Он просто хотел кормить людей.

Ичиро передал ему награды. Серебряная рюмка холодила ладонь.

Он ушёл, не дождавшись чая. На улице его догнала Юки.

— Брат писал о вас. Часто, — сказала она тихо. — Спасибо, что привезли его вещи.

— Это мой долг, — ответил он.

Они стояли молча. Снег, редкий и запоздалый, начал падать на её тёмные волосы.

— Вы... вы будете писать мне? — вдруг спросила она, не поднимая глаз. — Расскажите... как там?

— Я буду писать, — пообещал он.

Их переписка была похожа на разговор двух призраков. Они писали не о войне и не о горе. Они писали о погоде, о смене времён года, о цветах в саду. Их письма были попыткой натянуть тонкую бумажную ширму над бездной, которая разверзлась между ними. Но за иероглифами о цветущих сливах и осенних листьях угадывалось другое — их общее одиночество.

В следующий раз он приехал в отпуск по ранению. Осколок задел ногу — несерьёзно, но достаточно, чтобы на время забыть о грязи окопов. Токио был другим. В воздухе пахло тревогой. Но дом Ёсикава оставался островком тишины.

В один из вечеров, когда они сидели на веранде и пили чай, он посмотрел на Юки и сказал её отцу:

— Прошу руки вашей дочери.

Он сказал это так же просто, как сказал бы «передайте, пожалуйста, сахар». Отец Юки долго молчал, глядя в свою чашку.

— Ты хороший человек, Ичиро. Но в твоих глазах — война. Она никогда не уйдёт.

— Я знаю, — ответил Ичиро. — Но я буду заботиться о ней. Я обещал Дайскэ... Как он, если бы был жив.

Это была ложь. Он ничего не обещал. Но эта ложь показалась ему единственной правдой, за которую можно было уцепиться.

Они поженились через неделю. Скромная церемония в храме. Не было ни любви, ни страсти. Был только долг. Его долг перед другом, которого он не спас. Её долг перед братом, которого она не удержала. Их брак был не союзом двух людей, а попыткой двух теней согреться у догорающего костра общей памяти. Он взял её фамилию, чтобы тень Дайскэ навсегда осталась между ними, как молчаливый свидетель их тихого, безнадёжного союза.

Глава пятая

Война в Китае была не грозой, а затяжным, морозящим дождём. Она не очищала, а лишь размывала всё вокруг, превращая землю в грязь, а людей — в тени. Ичиро снова стал мечом. Тело помнило ритм марша, руки — холод стали, глаза — безразличие к тому, что лежало на обочинах дорог. Короткая жизнь в Японии, рядом с Юки, казалась сном, увиденным в лихорадке. Реальностью были только приказ, вес винтовки и серое, равнодушное небо.

Письмо пришло с почтой, привезённой на грузовике снабжения. Тонкий конверт, испещрённый иероглифами, выведенными знакомой, старательной рукой Юки. Он открывал его, и пальцы, привыкшие к грязи и маслу, казались чужими на этой чистой, хрупкой бумаге. Слова были простыми, лишёнными эмоций, как и подобало жене солдата. Но за их сдержанностью он почувствовал тихий, настойчивый стук новой жизни. Она была беременна.

Он подал прошение об отпуске. Командир, человек с лицом, похожим на старую карту, где морщины были реками, а шрамы —

городами, отказал. Его слова были такими же простыми и окончательными, как и слова в письме.

— Идёт война, Ёсикава. Империи нужны хорошие солдаты больше, чем детям — отцы. Твой долг здесь.

Ичиро принял отказ без возражений. Дисциплина была его второй кожей. Он продолжал чистить винтовку, ходить в патрули, спать на холодной земле, но теперь внутри его пустоты появилось что-то иное. Не тепло, нет. Скорее, точка напряжения. Невидимый узел.

Следующее письмо пришло через несколько месяцев. У них родилась дочь. Юки назвала её Аямэ. В честь бабушки Дайскэ, как они и договаривались.

«Она очень тихая, — писала Юки, — и у неё твои глаза. Если бы родился мальчик, мы бы назвали его Дайскэ».

Он перечитал эту строчку несколько раз. Дайскэ. Имя друга, похороненного в этой земле, имя, которое могло бы принадлежать его сыну. Он смотрел на иероглифы, и они расплывались, превращаясь в лицо Дайскэ, смеющееся над котлом с рисом. Долг, который он нёс, обрёл имя. Аямэ.

Отпуск ему дали внезапно, через полгода. За проявленную в бою доблесть — так было сказано в приказе. Он не помнил никакой доблести. Он помнил только крики, грязь и холодное удовлетворение от нажатия на курок. Путь домой был сном. И вот он стоит на пороге своего дома. Юки поклонилась ему, и в её глазах он не увидел ни упрёка, ни радости. Только бесконечную усталость.

— Она внутри, — сказала Юки. — Учится ходить.

Он вошёл в дом, и первое, что увидел — маленькую фигурку в красном кимоно, неуверенно переставляющую ножки. Аямэ держалась за низкий столик, делала шаг, другой, падала на мягкий татами, смеялась и вставала снова. Она смотрела на него большими, тёмными, серьёзными глазами. Своими глазами. Он сел на татами, и она, пошатываясь, сделала несколько шагов к нему. Он не протянул руки, чтобы поймать её. Он просто смотрел. Он пытался разглядеть в её крошечном, ещё не оформившемся лице черты Дайскэ. Изгиб губ, форму ушей, выражение

глаз. Он искал своего друга, свою потерянную половину, своё оправдание. Но она была ещё слишком маленькой, слишком новой для этого мира, чтобы нести в себе чью-то память. Он поднимал её на руки, и она тянулась к его лицу, изучая его пальцами, как будто пыталась запомнить его черты на всю жизнь.

— Дайскэ хотел бы её увидеть, — сказала однажды Юки.

— Да, — согласился Ичиро. — Он бы... он бы готовил для неё что-нибудь особенное. Сладкие рисовые шарики, наверное.

Они помолчали, вспоминая.

— Береги себя, — сказала Юки в последний вечер. — Теперь ты нужен не только Императору.

Он вернулся на войну другим. Пустота внутри никуда не делась, но теперь у неё появилось эхо. Теперь он сражался не только за абстрактную идею Императора, не только за холодную красоту долга. Он сражался за этот маленький, тёплый комочек жизни, который ждал его в Токио. Дайскэ пошёл в армию, чтобы защитить свою сестру. Теперь он, Ичиро, должен был защитить дочь, которая носила имя из их семьи. Он по-прежнему был верным солдатом Хирохито. Но теперь, убивая, он защищал не только Империю. Он защищал отражение глаз своего друга в лице своей дочери. Сталь его воли не смягчилась. Она просто приобрела новый, более личный и оттого более острый закал.

Эпилог

Он сидел на скамейке у реки, и время текло сквозь него, как вода сквозь пальцы. Лепестки сливы, почти белые, как первый снег, опускались на его плечи, на землю, на серую, равнодушную воду Янцзы. Ветер нёс их, и в этом танце не было ни красоты, ни печали. Была лишь механика падения.

Руки его сжимали гладкую, отполированную временем рукоять трости. Трость была из светлого, почти белого дерева, и когда-то давно, в другой жизни, на ней была надпись. Теперь она почти стёрлась, сгладилась, превратилась в едва различимые знаки на мёртвом языке, который больше никто не понимал.

У него хватило сил — или, может, безразличия — вернуться сюда, в этот город, который он когда-то покинул солдатом. Вернуться спустя десятилетия после того, как Империя, которой он служил, рассыпалась в прах. Капитуляция. Поражение. Но ему так и не хватило сил вернуться в Токио. Никогда. Даже чтобы умереть.

...и память, как капля чернил в стакане воды, окрасила серый день в цвета огня и пепла. Тот мартовский день был солнечным, почти летним. Он ехал в отпуск. Он ехал к Юки и Аямэ. Он вёз ей шёлковый платок, который выменял у торговца в Шанхае, а для Аямэ — маленькую деревянную куклу, которую выменял у какого-то китайца на пачку сигарет. Он представлял, как она будет смеяться, как её маленькие пальчики будут изучать резное кимоно игрушки. Но когда поезд подошёл к Токио, он увидел не город. Он увидел его похороны. Небо было чёрным от дыма, и сквозь него пробивалось больное, оранжевое солнце. Он не узнал свой район, Ситамати, где каждый переулок был пропитан его детством. Улиц не было. Были лишь русла, проложенные в остывающем пепле. Домов не было. Были лишь чёрные, обугленные скелеты, тянувшие к небу свои мёртвые руки. Его города больше не было. Его дома. Его Юки. Его Аямэ. Ничего. Только ветер, гоняющий по пепелищу обрывки чего-то, что когда-то было жизнью. И запах. Тот самый сладковатый, тошнотворный запах, который он так хорошо знал по Нанкину.

Когда их, последних солдат Империи, депортировали из Китая, он не поехал в Токио. Он сошёл с поезда в Киото и больше никогда не возвращался в город своего рождения. В город, который стал братской могилой для его мира. Он снова стал Миядзаки.

Он достал из кармана шёлковый мешочек. Дрожащие от холода пальцы развязали выцветший шнурок. Внутри был пепел, в котором, если присмотреться, можно было различить крошечные, несгоревшие частицы. Серый, безликий, похожий на пыль. Он поднёс его к лицу. Пепел не пах ничем. Он пах просто пустотой.

Он закрыл глаза.

Молодая китайская пара, гулявшая по набережной, увидела, как пожилой мужчина вдруг странно дёрнулся и начал заваливаться набок. Его трость со стуком упала на плиты.

— Nín hǎo? Xūyào bāngzhù ma? — они подбежали, юноша осторожно коснулся его плеча. — Чем вам помочь? Вызвать скорую?

Но Ичиро их уже не слышал. Последним звуком, который он различил в гаснущем сознании, были не их вопросы, не шум реки, не шелест прошлогодних листьев.

Это был тихий, отчётливый стук.

Стук его деревянного меча, упавшего на циновку в тот день, когда ему исполнилось пять лет.

*Et victor,
Et victus,
In ludo huius mundi —
Non plus quam gutta roris,
Non diutius quam fulguris micat.*

Глоссарий:

Шэньбао (申報) — ежедневная газета, издававшаяся в Шанхае с 30 апреля 1872 года до 27 мая 1949 года.

Нанкинский трибунал по военным преступлениям — был учреждён в 1946 году правительством Чан Кайши для суда над четырьмя офицерами императорской армии Японии, обвиняемых в военных преступлениях, совершённых во время Второй японо-китайской войны в Нанкине. Это был один из тринадцати трибуналов, организованных правительством Чан Кайши.

Ситамати (下町) — «Нижний город»: исторический район Токио, населённый ремесленниками. Полностью уничтожен в начале марта 1945 года.

Мемориал жертвам Нанкина — реальный мемориал в Нанкине с именами 300 000 жертв.

Гэндайто (現代刀) — «Современный меч»: Деревянная тренировочная катана. На клинке — имя императора Хирохито.

Футон (布団) — традиционный матрас на полу.

Хирохито (裕仁) — 124-й император Японии (1926–1989). Последний монарх Японской империи, которая прекратила своё существование в результате поражения во Второй мировой войне. Генералиссимус японских войск. В соответствии с конституцией Японии 1889 года император обладал божественной властью над своей страной, которая выводилась из японских мифов о происхождении императорской семьи от богини солнца Аматэрасу.

Бусидо (武士道) — «Путь воина»: Кодекс самурая. В империалистической Японии, представлял собой кодекс, который был адаптирован и использовался для оправдания агрессивной внешней политики и милитаризма.

Даймё (大名) — «Большое имя»: крупнейшие военные феодалы в средневековой Японии, элита среди самураев.

Театр Но (能) — один из видов японского драматического театра, который отличается использованием масок символизирующих застывшие эмоции.

Норэн (暖簾) — традиционный японский занавес, который вешают для отделения пространства в комнате, как штору в дверном проёме или на окне.

Унаги (うなぎ) — в японском языке означает речного угря, особенно японского угря (*Anguilla japonica*), который является популярным ингредиентом в японской кухне.

Онигири (お握り) — рисовые шарики с начинкой.

Умэбоси (梅干) — маринованные сливы. Начинка в онигири.

Даси (だし) — японский бульон, который является основой многих блюд японской кухни.

Принцесса Кагуя (かぐや姫) — «Сказание о принцессе Кагуя» (принцессы с Луны) — японская народная сказка, созданная, по предположениям исследователей, в конце IX — начале X века и считающаяся прародительницей всех моногатари (сказаний).

Цуёси Инукаи (犬養毅) — японский политик либерального толка (1855-1932). Застрелен при попытке военного переворота.

Гунто (軍刀) — стандартный армейский офицерский меч периода второй мировой войны (1934–1945).

Банзай! (万歳) — «Десять тысяч лет!» Часто использовалось в качестве боевого клича японских воинов.

Боккен (木剣) — деревянный макет средневекового японского меча (катана).

Шаньси (山西省) — провинция в Северном Китае. Место ожесточённых боёв в 1937–1945 гг.

Дом Ямато — японский императорский дом (皇室), также известный как императорская семья и династия Ямато.

Хакко итиу (八紘一宇) — «Восемь углов под одной крышей». Лозунг японской экспансии.

Маньчжоу-го (滿洲国) — империя, образованная под влиянием японской военной администрации на территории Маньчжурии; существовала с 1 марта 1932 года по 19 августа 1945 года.

Тосиаки Мукаи (向井敏明) и Цуёси Ноды (野田毅) — офицеры, устроившие «соревнование» в убийствах пленных. «Дуэль» происходила по пути в Нанкин, непосредственно перед Нанкинской резнёй. Казнены в 1948 году.

Итагаки Сэйсиро (板垣 征四郎) — генерал японской Императорской армии, министр армии (1885-1948), один из организаторов захвата Маньчжурии. Повешен в токийской тюрьме Сугамо за военные преступления.

Девочка из ямы (часть вторая, глава третья) — Чэнь Мин, мать учителя Чэнь Вана из «Дороги в тысячу лет» и «Троп».

Букокиё (武功徽章) — знак «За военные заслуги». 3-я степень — для рядовых.

Бомбардировка Токио 9-10 марта 1945 года — В ходе налета 334 бомбардировщика В-29 военно-воздушных сил США сбросили на город более 1700 тонн зажигательных бомб, вызвав масштабный пожар и огненный шторм. В результате бомбардировки погибло, по разным оценкам, от 80 до 100 тысяч мирных жителей, более 40 тысяч человек получили ранения, и около миллиона остались без крова.

Et victor, et victus... — стихи Оути Ёситака (1507–1551), князя провинции Суо, который проиграл во внутриклановой борьбе своему сопернику и покончил с собой:

*И победитель,
И побежденный
В игрище этого мира —
Не больше, чем капля росы,
Не дольше проблеска молний.*

Эффект наблюдателя

*Видеть мир в песчинке,
А небо — в полевом цветке.
Вместить бесконечность в ладони
И вечность — в часе.
Но если глаз закроется — всё канет в серость.*

— Вильям Блейк

24 ноября

Думаю, это моя последняя запись. Писать становится всё труднее — буквы расплываются, бумага теряет плотность, даже огонь в печке больше не даёт цвета, только серый отсвет на стенах. Это становится почти невозможно. Чернила больше не спорят с белизной страницы, они лежат на ней, как тень на тени. Сам акт выведения букв требует усилий, будто я процарапываю их на поверхности замерзшей ртути. Все сливается в единый серый шум — и бумага, и пламя в печи, и мир за окном.

Если кто-то когда-нибудь найдёт эти страницы — пусть знает: я пыталась помнить. Но память тоже выцветает.

Падма сидит у огня, прижавшись к Леше. Её глаза, когда-то похожие на два темных, глубоких озера, теперь — просто два пятна тумана на бледном лице. Леша молчит уже вторые сутки. Молчание стало его способом заботы. Он молча подкладывает дрова в печь. Молча укрывает девочку одеялом. И молча, уже в третий раз, перечитывает дедушкину книгу, водя пальцем по строчкам, которые для меня давно рассыпались в пыль. Я уже не понимаю, что он там ищет — слова теряют смысл, строчки сливаются в одну бледную полосу. Не понимаю. Возможно, он помнит всю книгу наизусть. Или, может быть, он ищет в словах, которые там написаны, не смысл, а лишь привычный ритуал, последнее доказательство того, что порядок когда-то существовал.

Из деревни уже неделю не доносится ни звука. Она стала совсем другой.

Когда мы приехали сюда, казалось, вечность назад, она звенела жизнью. Острая, почти болезненная синева неба. Кричащие цвета молитвенных флажков на ветру — синий, белый, красный, зеленый, желтый, каждый цвет был отдельной нотой в общей песне. Воздух пах кизяком, можжевельником и топленым маслом. Жизнь была в каждом камне, в морщинах на лицах стариков, в звоне колокольчиков на шеях яков.

Я почти не помню, как выглядели лица людей, которые были здесь. Иногда мне кажется, что их никогда и не было. Только мы трое, печка и этот дневник, который скоро исчезнет вместе со мной.

Теперь деревня — это эскиз, набросанный углем на сером картоне. Флажки — просто выцветшие лоскуты ткани, одного тона с небом. Звуки умерли первыми, как будто годы назад. За ними последовали запахи. Теперь уходит цвет. Остался только шум. Не гул ветра, не шорох снега. Просто фоновый шум бытия, потерявшего все свои свойства.

Леша ищет в дедушкином триптихе ответ. А я думаю, что текст и был ответом.

Мы просто дошли до его последней страницы.

1 ноября

Три недели назад автобус, похожий на усталого разноцветного жука, умер на последнем перевале. Он зашипел, дернулся и затих, выпустив из-под капота облако пара, которое тут же смешалось с разреженным воздухом. Дальше — только пешком.

Полина вдохнула полной грудью. Воздух был тонким, холодным и таким чистым, что, казалось, обжигал легкие. Вокруг, до самого горизонта, простирались горы — немые, седые гиганты, подпирающие небо цвета самого дорогого синего фарфора. Здесь, на высоте четырех тысяч метров, мир выглядел первозданным, только что сотворенным.

— Кислорода... мне не хватает кислорода, — пропыхтел Сергей, бледный студент, прижимая к груди ингалятор, словно тот был последним артефактом ушедшей цивилизации. Но он был вполне счастлив —

впервые за долгое время его никто не торопил и не требовал быть «на уровне».

— Дыши глубже, мальчик, — беззлобно усмехнулся Дмитрий Станиславович, подтягивая лямки рюкзака. Его жена, Наталья Сергеевна, маленькая и сухонькая, как горная птица, уже указывала вперед.

— Смотрите! Кажется, это она.

Внизу, в чаше долины, прилепилась к склону деревня. Издалека она походила на горсть брошенных кем-то камней. Но когда они подошли ближе, камни ожили. Зазвенели колокольчики на шеях косматых яков, закрипели молитвенные барабаны, и им навстречу, смеясь и крича, высыпала ватага ребятишек в ярких, заношенных одеждах. Их лица были обветрены, темны от загара, а глаза сияли живым, непуганым любопытством.

Среди них была и она, Падма. Она не кричала, а стояла чуть в стороне, серьезно разглядывая пришельцев своими черными, глубокими, как ночь, глазами.

Их встретили радушно, без лишних вопросов. Словно они были не чужаками, а давно ушедшими и наконец вернувшимися родственниками. Наталья Сергеевна и Дмитрий Станиславович, сверяясь с потрепанным русско-тибетским разговорником, пытались выстроить фразу приветствия, и их лица сияли восторгом первооткрывателей. Тибетцы кивали, улыбались морщинистыми лицами, на которых жизнь прочертила карту высохших рек, и вели их в самый большой дом.

Алексей Мальянов шел молча, как и всегда. Он не смотрел на людей. Его взгляд инженера цеплялся за детали: за то, как сложены стены домов из камня и глины, за хитроумную систему деревянных желобов, по которым с гор сбегала вода, за то, как устроены бездымные печи. Он видел не экзотику, а функцию, выверенную веками логику выживания.

Их усадили на низкие скамьи и угостили чаем. Часуйма. Густой, соленый напиток с топленным маслом и молоком яка. Он пах дымом и чем-то копченым, и с первого глотка обволакивал внутренности странным, диким теплом. Сергей поморщился, Полина же пила медленно, пытаясь распробовать этот вкус — вкус самого места, древнего и чужого.

Их поселили в пустующем доме на краю деревни. Дом был пустой, но не заброшенный: на стенах висели фотографии, в углу стоял резной сундук, пахло топлёным маслом и можжевельником. Хозяева, как объяснили им жестами и ломаными фразами из разговорника, год назад перебрались в Лхасу, к цивилизации, оставив всё как есть, будто собирались вернуться завтра. Большая часть их туристической группы осталась там же — они побоялись ехать дальше на старом автобусе, предпочтя комфорт отеля этому последнему, самому дикому отрезку пути.

Вечером Полина вышла на крыльцо. Небо стало темно-фиолетовым, и на нем одна за другой зажигались звезды — огромные, яркие, близкие. Из деревни доносились приглушенные звуки: чей-то гортанный смех, лай собаки, тихий напев молитвы. Все было наполнено миром и покоем. Никаких предчувствий. Никаких знамений. Просто еще один вечер на крыше мира.

Автобус должен был вернуться через три дня. У них было ровно три дня абсолютной, звенящей свободы. Полина улыбнулась своим мыслям. Здесь, под этим неправдоподобно звездным небом, ее собственная жизнь в Москве — с разводом, работой, одинокими вечерами — казалась далекой и совершенно необязательной.

2 ноября

Утро. Солнце здесь не греет, а стерилизует, заливая долину резким, белым светом. Воздух неподвижен. Тишина такая плотная, что в ней можно расслышать, как бьется собственное сердце. Спала плохо, снились какие-то графики и схемы, остатки моей московской жизни.

В самолете, пока мы летели над бесконечными облаками, я перечитывала дедушкин триптих «Мэйхуа». В юности эта книга казалась мне откровением — как будто дед, всю жизнь проживший в Балашихе, вдруг увидел и понял что-то такое, что не дано было никому вокруг. Китай, Япония, чужие города, чужие судьбы, чужие слова — всё это казалось мне тогда невероятно важным, почти мистическим. Я зачитывалась его описаниями, искала в них ответы на свои вопросы, которых тогда было слишком много. Это было пьяняще, как первое дешевое вино. Я ходила и чувствовала себя посвященной, видящей скрытые смыслы в узорах на обоях.

А сейчас... Вся его Азия была придумана за кухонным столом, между чаем и просмотром новостей. Он писал о Китае и Японии, а на самом деле — о себе, о своих страхах и надеждах, которые так и не нашли выхода. Дед, очевидно, был очарован идеей дурной бесконечности, как змея, кусающая свой хвост. Он описывает миры, вложенные друг в друга, как матрешки. Красивая метафора для человека, который всю жизнь прожил в одной и той же квартире. Его вселенная была так мала, что ему приходилось выдумывать другие, чтобы в ней не задохнуться.

В семнадцать лет такие книги кажутся откровением. В сорок — диагнозом. Диагнозом человека, которому собственная жизнь казалась слишком тесной. Но что, если эта тесная жизнь — тоже вымысел? Что, если дед выдумал не Азию, а Балашиху?

Алексей с утра пытался поймать спутник. Бесполезно. «Старлинк» ведет себя странно. Сигнал на терминале появляется на несколько секунд, мощный, уверенный, а потом тает, словно его и не было. Один раз ему удалось загрузить главную страницу новостного сайта — она проступила на экране наполовину, как старая фреска, и замерла в виде бессмысленного набора пикселей и обрывков заголовков — сообщения, которые больше похожи на помехи. Позвонить так никому и не удалось.

Дмитрий Станиславович и Наталья Сергеевна только радуются. «Цифровой детокс, Полина! Наконец-то!». Сергей ноет, что не может запостить фото в VK. Алексей хмурится и молча ковыряется в настройках. Он единственный, кого это по-настоящему тревожит. Его инженерная душа не терпит иррациональных сбоев.

А я... я чувствую странное спокойствие. Будто мир нас просто отключил от сети, как надоевшую периферию. Дед бы сказал, что это первый сбой в Матрице. А я думаю, просто плохой провайдер на крыше мира. И, честно говоря, мне все равно. Может быть, впервые за много лет.

2 ноября

Днем они отправились в гомпу — местный маленький монастырь, прилепившийся к скале, как осиное гнездо. Дорога к нему шла круто вверх, мимо ступ, увешанных выцветшими флажками, и плоских камней с выбитыми на них мантрами. Внутри пахло топленным маслом,

можжевельником и веками. В полумраке главного зала, освещенного лишь узкими окнами под потолком, золотом тускло поблескивали статуи божеств — многоруких, гневных и безмятежных. Их лица, скрытые в тени, казалось, наблюдали за пришельцами с нечеловеческим спокойствием. На стенах — ряды молитвенных флагов, выцветших до почти прозрачности, и росписи, где краски давно смешались в одну охристую гамму. В углу — бронзовый барабан, на котором кто-то из местных негромко отбивал ритм, похожий на биение сердца.

Дмитрий Станиславович и Наталья Сергеевна ходили по залу с благоговейным шепотом, сверяясь с путеводителем и пытаясь прочесть имена на танка — старинных свитках, изображавших сцены из жизней святых. Сергей фотографировал все подряд на телефон, жалуясь, что без вспышки получается слишком темно. Полина просто стояла посреди зала, ощущая, как давит на нее эта древняя, чужая вера. Она чувствовала себя здесь не просто чужой — она чувствовала себя прозрачной, несущественной.

Когда они вышли обратно на слепящий свет, Алексей поравнялся с ней.

— Я заметил у вас книгу, — сказал он тихо, почти не разжимая губ. — Вы её читаете?

Полина вздрогнула от неожиданности:

— Взяла с собой в дорогу. Её написал мой дед.

Алексей удивился, даже остановился на мгновение:

— Ваш дед? Я читал эту книгу. Мне очень понравилось.

— В молодости и мне казалось, что это что-то особенное, — ответила Полина. — Сейчас воспринимаю иначе. Мама рассказывала, что дедушка хотел написать киносценарий, после того как посмотрел какой-то китайский сериал. Несколько лет обдумывал, а потом вдруг написал сначала один «микророман», потом второй, а потом и третий — буквально за пару месяцев, будто кто-то диктовал.

Алексей кивнул, глядя куда-то в сторону заснеженных вершин.

— Можно, я возьму почитать? Может, я тоже сейчас взгляну на нее иначе. Когда я читал её, то почему-то представлял на месте одного из героев своего деда. Он занимался наукой, физикой. А потом, после нескольких странных происшествий, все бросил и замкнулся в себе.

Он помолчал, а потом добавил с кривой усмешкой:

— Наверное, не мы выбираем дороги, а дороги выбирают нас.

В этот момент к ним подошел староста, господин Чжасчи-тобгял — высокий, сухой старик с лицом, похожим на печеное яблоко. Рядом с ним трусила огромная лохматая собака, похожая на медвежонка. За ее хвост, как за веревку, хихикая, держалась Падма.

Староста, помогая себе жестами, заговорил. Наталья Сергеевна, заглядывая в разговорник, переводила с паузами:

— Он говорит... по телевизору... рассказывают странные вещи. По всему миру... перебои со связью. И телевизор у них барахлит, хоть и новый. Иногда... вместо цветной картинки... черно-белая. А иногда экран просто... тускнеет.

Пока он говорил, собака вдруг замерла. Шерсть на её загривке встала дыбом. Она глухо зарычала, глядя в пустоту, а потом, сорвавшись с места, с громким, испуганным лаем бросилась куда-то вниз по тропе. Падма уже было кинулась за ней, но староста властно остановил ее жестом.

— Он говорит... оставайся с белыми людьми, — перевела Наталья Сергеевна. — Они тебя отведут домой. А собаку он сам найдет.

Старик кивнул им, развернулся и быстро, не по-стариковски, зашагал по тропе вслед за лаем, который становился все дальше и глуше, пока совсем не затих. Падма послушно осталась рядом с ними, но всё время смотрела в ту сторону, куда убежала собака. Ее лицо было серьезным и настороженным.

2 ноября

Дала книгу Алексею. Сейчас он у окна, читает. Странно. Он инженер, человек схем и систем, практик до мозга костей. Что он может найти в этом витиеватом, метафоричном тексте, в этой игре в бисер,

придуманной другим инженером, который отчаянно хотел быть поэтом? Может быть, потому что в ней всё устроено по каким-то своим, скрытым законам, как в сложной схеме, где каждый элемент на своём месте, даже если снаружи кажется хаосом. Или потому, что технари — самые большие мечтатели, только мечтают они о порядке.

А что со мной случилось? Куда делась та девочка, которая в семнадцать лет читала эти же строки, запершись в своей комнате, и не могла сдержать слёз? Она верила каждому слову. Она плакала над судьбой Мэй, над одиночеством Вана, над самой идеей, что мир может быть жестоким и несправедливым. Которая верила, что слова могут менять реальность, что книги — это ключи к другим мирам, а не просто способ убежать от своего. Когда я разучилась плакать над книгами? Когда перестала верить, что всё ещё впереди? Где она потерялась? Разбилась о развод, высохла в бесконечных социологических отчетах, задохнулась в московском смоге?

Может быть, это и есть взросление — когда даже самые сильные чувства становятся воспоминаниями, а воспоминания — просто словами на бумаге. Или это усталость, накопившаяся за годы, когда каждый день похож на предыдущий, и даже чудо кажется чем-то неудобным, неуместным.

Деревня уже спит. За окном темно. Ни староста, ни собака не вернулись.

Тишина. Сон не идёт. Всё кажется чужим, даже собственные мысли.

3 ноября

Утро выдалось холодным и прозрачным, как стекло. Полина вышла на крыльцо — Алексей уже сидел на лавке, с книгой на коленях. Он явно не спал всю ночь: глаза покраснели, движения стали медленнее, чем обычно.

— Как впечатление? — спросила она тихо, чтобы не нарушить хрупкое утреннее безмолвие.

Алексей медленно повернул к ней усталое, но ясное лицо.

— Удивительно, — сказал Алексей. — Когда читаешь второй раз и знаешь, что её написал твой дедушка, триптих кажется даже интереснее и глубже. Я всё время ловил себя на мысли: как он смог создать такой мир, настолько живой и реальный? Это не просто описание событий — он будто сам строил историю, кирпичик за кирпичиком, через судьбы своих героев. Поразительно, как он смог из ничего, из воздуха, создать целый мир. Насколько реалистичный, что в него веришь больше, чем...

Он неопределенно махнул рукой в сторону заснеженных гор.

— Да, — согласилась Полина. — Дедушка всегда говорил, что история — это не то, что случилось, а то, как мы это помним. Он не просто описывал — он создавал.

— Больше, чем создавал, — подхватил Алексей, и в его голосе появилась новая, напряженная нота. — Читатель становится не просто наблюдателем. Сопереживая героям, он сам творит этот мир вместе с автором. Заставляет его существовать. Как в квантовой физике — система коллапсирует в определенное состояние только в момент наблюдения. Пока смотришь — всё существует, исчезает — когда перестаёшь видеть. Он, кажется, это интуитивно понял.

Он встал и прошелся по комнате.

— Я ведь зачем сюда поехал... Чтобы попробовать снова видеть мир. В Москве, в последние годы... кроме чертежей, кода и схем уже ничего не волновало. Всё стало каким-то плоским, как на экране старого монитора. А здесь... — он снова замолчал.

Полина слушала его, и в этот момент с ней произошло что-то странное. Она почти физически ощутила, как фигура Алексея, стоящего у окна, на мгновение стала какой-то... блеклой. Слово его контуры стали менее четкими, а цвета в его одежде — менее насыщенными, будто он потерял цвет на фоне этого утреннего света. Может быть, это просто усталость, подумала она. А может, что-то другое.

В этот момент во дворе появился Сергей, запыхавшийся, с растрёпанными волосами и испуганными глазами. Его лицо было блее мела.

— Нашли старосту! — выдохнул он. — Он какой-то... другой. Молчит, не отвечает ни на что, и весь какой-то серый.

— А собака? — тихо спросила Полина.

— Нет...

3 ноября

Вечером вся деревня собралась в доме старосты. В центре комнаты, на низкой скамье, сидел сам Чжасчи-тобгял. Он не был похож на больного или сумасшедшего. Он был похож на предмет. Статуя из серой пыли, чьи глаза смотрели сквозь стены, сквозь горы, сквозь саму реальность.

Для туристов это было чистое, незамутненное этнографическое зрелище. Сергей достал телефон, в расчете снять хорошее видео для ютуба. Дмитрий Станиславович и Наталья Сергеевна сели в углу, приняв позы уважаемых наблюдателей на научном симпозиуме. Полина, как социолог, чувствовала почти профессиональный восторг. Классический ритуал изгнания, апотропеическая магия, попытка сообщества восстановить нарушенный порядок через символическое действие. Она мысленно делала пометки.

Появился шаман. Не величественный старец из фильмов, а маленький, сухой, похожий на корень имбиря человек с беспокойными глазами. Он двигался без суеты, раскладывая свои атрибуты: бронзовую чашу с мутной водой, связки сушеных трав, маленький барабан из туго натянутой кожи.

И ритуал начался.

Сначала это было похоже на театр. Шаман ходил кругами, бормоча что-то гортанное и ритмичное. Он окуривал старосту дымом, который пах горько и сладко одновременно. Затем он взял барабан.

Первые удары были редкими, глухими. Как медленное сердцебиение. Тум... тум... тум... И с каждым новым ударом казалось, что воздух становится плотнее, а пространство — теснее. Жители деревни, сидевшие вдоль стен, подхватили этот ритм, начали раскачиваться, издавая низкий, гудящий звук в унисон — сначала тихо, потом всё громче, пока этот гул не стал похож на гудение улья. Полина продолжала

анализировать. Создание единого звукового поля, введение участников в состояние легкого транса...

Но ритм ускорился. Тум-тум. Тум-тум-тум. Голоса стали громче, настойчивее. Шаман начал двигаться быстрее, его движения стали резкими, рваными. Он уже не ходил, он танцевал — дикий, ломаный танец, танец борьбы. Он брызгал на старосту водой, бросал в него травы, выкрикивал слова, которые больше не были похожи на молитву, а на приказы, на брань, от которых у Полины по спине пробежал холодок.

Аналитический барьер Полины начал трещать. Звук был повсюду. Он проникал под кожу, вибрировал в костях, заставлял зубы ныть. Это был уже не ритуал. Это была атака. Атака звуком, запахом, движением на ту серую тишину, что поселилась в старосте. Сергей опустил телефон. Наталья Сергеевна вцепилась в руку мужа. Интеллектуальное любопытство сменилось первобытным, иррациональным вовлечением. Они больше не были зрителями. Они были внутри.

Шаман достиг пика. Он застыл перед старостой, подняв обе руки, и издал один, последний, пронзительный крик — крик, который, казалось, должен был расколоть саму ткань бытия.

И в этот момент все сломалось.

Это не было похоже на выключение света. Это было похоже на то, как из мира выкачали душу. Красные угли в очаге не погасли — они стали пепельно-серыми, сохранив форму, но утратив огонь. Яркие узоры на одеялах на стенах превратились в оттенки грязи. Золотые нити на одежде шамана стали похожи на тусклую солому. И звук. Звук не исчез, он истончился. Удары барабана, которые только что сотрясали грудную клетку, теперь звучали как стук сухого сучка по картонной коробке. Гудящий хор жителей деревни превратился в безэмоциональный, плоский гул, как от неисправного трансформатора.

Шаман опустил руки. Его танец прервался. Он смотрел на старосту, и в его глазах больше не было силы. Был только ужас. Он пытался изгнать серость, а вместо этого лишь доказал, что она сильнее.

В наступившей мертвой тишине староста сидел так же неподвижно, как и раньше. Ничего не изменилось.

Жители деревни медленно, как во сне, начали расходиться. Никто не смотрел друг на друга. Они молча вставали и выходили в серую ночь.

Полина сидела, не в силах пошевелиться. Ее социологические теории рассыпались в прах.

Это был не ритуал изгнания. Это был акт диагностики.

4 ноября

Утром я поняла, что дедушка, при всей его проницательности, ошибся в главном. Он описал бы нашу ситуацию, используя название одного из рассказов писателя, которого он почитал: «Сад расходящихся тропок». Множество вариантов будущего, разветвляющихся из каждой точки настоящего. Но он ошибся. Тропки не расходятся. Они исчезают, оставляя после себя лишь теоретическую возможность своего существования.

День начался с визита, который можно было бы счесть посланием из другого, параллельного мира, если бы не было очевидно, что и тот мир начал распадаться на бессвязные фрагменты. Пришли родители Падмы, ведя ее за руку. Их лица были спокойны, но это было спокойствие людей, переставших задавать вопросы и сосредоточившихся на практических задачах. Они принесли новости, полученные из старого радиоприемника, шипящего, как змея. В стране введено военное положение. Причина неизвестна. Информация была неполной, дефектной, как те обрывки новостей, что удавалось загрузить Алексею. Главный факт, единственная неоспоримая константа в этом уравнении: все транспортное сообщение остановлено. Автобуса не будет.

Мне показалось, что этот факт был воспринят всеми нами с неким извращенным облегчением. Неопределенность ожидания сменилась определенностью ловушки.

Затем последовало второе известие, еще более странное в своей обыденности. Родители Падмы, собираясь в райцентр на своем старом, дребезжащем мотоцикле за солью и свечами, попросили нас присмотреть за дочерью. «Падма хочет остаться с вами, если вы не против».

Мы, конечно, не возражали. Дмитрий Станиславович даже попытался пошутить, что теперь у нас есть «официальный гид по местным обычаям».

В этом не было ничего удивительного. Дети всегда тянутся к новому. Но в контексте происходящего этот акт — передача ребенка на попечение чужаков в момент кризиса — выглядел как передача последнего ценного манускрипта из осажденной библиотеки. Мне показалось, что это не она выбрала остаться с нами, а скорее некая высшая логика, или ее отсутствие, оставила нам этот артефакт, этот залог реальности, который мы теперь обязаны хранить.

Дмитрий Станиславович, пытаясь удержаться за привычную ткань бытия, задал практический вопрос: «А как староста?». Ответ был подобен отчету об неудачном научном эксперименте. Родители заходили к нему утром. В доме никого не было. Он исчез. Никто не видел, как он выходил. В маленькой деревне, где каждый шаг известен всем, человек просто перестал существовать в пределах своего жилища. Его исчезновение — это не загадка в духе Конан Дойля. Это логический парадокс. Вчерашний ритуал не был диагностикой. Это была аннигиляция.

После того как рокот мотоцикла затих вдали, оставив нас с молчащей девочкой, Сергей, в приступе деятельного отчаяния, предложил Алексею немыслимое. Поднять терминал «Старлинка» выше в горы. Его логика была логикой человека каменного века: чтобы увидеть дальше, нужно залезть выше.

Спор Сергея и Алексея, состоявшийся после, был похож на диспут двух схоластов о природе ангелов, в то время как собор вокруг них уже пожирал огонь. Алексей, с терпением человека, объясняющего ребенку законы термодинамики, изложил теорию:

— Дело не в высоте, Сергей, а в зоне покрытия спутника, в его траектории. Мы находимся в «мертвой зоне», в тени. Поднять терминал на пару сотен метров выше — это как пытаться докричаться до луны, взобравшись на стул. Это ничего не изменит.

Он был абсолютно прав с точки зрения своей инженерной вселенной. Но в нашей новой реальности его правота была так же

бессмысленна, как и заблуждение Сергея. Они спорили о правилах игры, не понимая, что сама доска, на которой они играют, отсутствует.

Я смотрела на них и понимала: мы оказались заперты в лабиринте, у которого нет ни входа, ни выхода. Просто стены, между которыми обрываются все пути.

Ждём завтра.

5 ноября

Они нашли его на следующее утро, у подножия скалы, которую местные называли «Палец Демона». Но это был не Сергей.

То, на что они смотрели, было инсталляцией. Жестоким, бессмысленным произведением искусства, которое создала умирающая реальность. Он лежал на камнях не как человек, а как сломанная кукла, брошенная разгневанным ребенком. Его тело было изогнуто под невозможным углом, одна рука вытянута вверх, к небу, которое он так и не смог достать.

И цвета. Боже, цвета. В этом мире, который уже почти забыл, что такое цвет, его смерть была криком. Синий цвет его куртки был не просто синим — это был ядовитый, синтетический, болезненный ультрамарин, цвет, которого не бывает в природе. Он горел на фоне серых скал, как пролитая химическая краска. А кровь... она не была красной. Она была цвета перезрелой вишни, густой и лаковой, словно кто-то опрокинул банку эмали. Она не впитывалась в камни, а лежала на них чужеродным, глянцевым пятном. Кровь, если она была, не выглядела как кровь — скорее, как пятно ржавчины на старом железе, которое никто не чистил много лет. Даже сама земля под ним казалась не землёй, а битым стеклом или рассыпанным сахаром, сверкающим на тусклом солнце. Лицо обращено к небу, и в его глазах отражалось небо — не синее, а выцветшее, как акварель, размытая дождём. Его рот был приоткрыт, будто он пытался что-то сказать, но слова застряли где-то между горлом и облаками.

Рядом, в нескольких метрах, лежал терминал «Старлинка». Черный, разбитый, похожий на хитиновый панцирь мертвого гигантского жука. Его маленький светодиод, индикатор жизни, не горел. Он мигал. Мигал

медленно и ровно, с идеальным интервалом. Но цвет его был неправильным. Не зеленым, не красным, не белым. Он был пурпурным. Неоновым, ядовитым цветом, которого Полина никогда не видела ни у одного электронного устройства.

Это была не трагедия. Это был сбой в коде. Глюк. Визуальная ошибка в рендеринге реальности, которая решила продемонстрировать свою агонию самым уродливым из возможных способов.

Подошедшие жители деревни, чьи лица были неотличимы от окружающих камней, рассказали все просто и буднично. Они искали заблудившегося яка. Увидели яркое пятно. Подошли. Вероятно, он полез вверх ночью. Поскользнулся. Упал. Их слова были из старого, понятного мира. Но они не имели никакого отношения к той сюрреалистической картине, что лежала перед ними.

И тогда, после первого шока, пришел настоящий ужас. Не метафизический, а до тошноты практический.

А что делать с телом?

Этот вопрос повис в разреженном воздухе. Дмитрий Станиславович, человек протокола и порядка, первым озвучил то, что крутилось в голове у каждого.

— Мы должны... мы должны следовать процедуре.

Но процедуры больше не существовало.

Сообщить родителям... но телефоны молчат. Связаться с посольством... но посольство — это абстракция, существующая где-то там, в мире, которого, возможно, уже нет. Отправить тело на родину... но нет ни самолетов, ни дорог, ни самой родины в том виде, в котором они ее помнили.

Они стояли над этим ярким, кричащим пятном смерти, и понимали: Его смерть была фактом. Она была материальна. Она была проблемой, которую нужно было решить.

6 ноября

Сегодня мне приснился Сергей. Не тот, что лежал на склоне, а другой — прозрачный, как вода, и в то же время плотный, как камень. Он не лежал на камнях. Он парил в серой, безвоздушной пустоте, как астронавт, у которого оборвался трос. Он был не мертв. Он выцветал. Сначала исчез ядовитый синий цвет его куртки, будто его смыли невидимым дождем. Потом испарилась лаковая вишня крови. Осталась лишь черно-белая фигура, как на негативе. А потом и черный с белым начали смешиваться, превращаясь в единую, безликую серую массу, которая медленно растворялась в окружающей серости.

Днем я нашла Алексея. Он сидел на крыльце и чертил что-то палочкой на замерзшей земле — какие-то формулы, диаграммы, похожие на кабалистические знаки. Он говорил долго, и его речь была похожа на бред сумасшедшего. Или на откровение.

Он рассказывал о каком-то Вечеровском, друге его деда, тоже физике. О его теории, которую они обсуждали ночами на кухне, пока их дети спали.

— Вечеровский говорил, что мироздание держится на двух столпах, — начал Алексей, не глядя на меня, его взгляд был прикован к собственным чертежам. — На законе необувания энтропии, который ведет все к хаосу, и на развитии разума, который стремится к порядку. Если бы был только хаос, все бы распалось. Но если бы возобладал разум, всемогущий, непрерывно развивающийся, структура мироздания тоже бы нарушилась. Оно стало бы другим, потому что у такого разума может быть только одна цель: изменение природы самой Природы.

Он говорил тише, чем хруст инея под палкой. Не объяснял — рисовал.

— У мира две тяги, — провёл линию, — к распаду и к порядку. Если оставить одну, всё сгниёт и рассыплется. Если дать власть другой, всё станет стеклянным и неподвижным, как витрина. Мир держится посередине, как чаша на весах: трепещет — и потому жив.

Он обвел один из своих символов.

— Поэтому суть «закона Вечеровского», как называл его мой дед, — это поддержание равновесия. Баланс. Гомеостаз. Поэтому, говорил он, нет и не может быть сверхцивилизаций в космосе. Потому что сверхцивилизация — это разум, который уже преодолевает энтропию в космических масштабах. А это — угроза равновесию. И то, что происходит сейчас с нами, сказал бы мой дед, — он впервые поднял на меня глаза, и они были абсолютно безумны и абсолютно ясны, — это не что иное, как реакция. Мироздание защищается. Оно нас... редактирует.

Он говорил это, и я видела перед собой двух стариков на прокуренной советской кухне, строящих грандиозные, параноидальные теории о Вселенной, потому что их собственная жизнь была слишком тесной и скучной. Наверное, мой дед отлично бы вписался в их компанию.

Алексей, помолчав, стер свои чертежи ногой.

— Но я думаю, они оба были неправы, — сказал он тихо. — И дед, и его Вечеровский. Они слишком хорошо думали о человеке. Они видели в нас угрозу, растущий разум. А мы... мы слишком поглощены собой. Мы предпочитаем говорить, а не слушать. Когда мы спрашиваем «как дела?», это лишь формальность, прелюдия к рассказу о себе, о своих достижениях, страхах, чувствах. Мы... каждый из нас... замкнутая система. Мы разучились наблюдать за миром, мы наблюдаем только за собственным отражением.

Он горько усмехнулся.

— А если это так, то зачем Мирозданию нам препятствовать? Зачем защищаться от того, кто не представляет угрозы? Мы не вирус. Мы просто... ненужная часть системы. Устаревшая программа, потребляющая ресурсы, но не дающая результата. И нас не надо стирать в наказание. Нас надо просто отправить в архив. За ненадобностью.

И я не знала, что ему ответить.

7 ноября

Утром Наталья Сергеевна сказала, что они с мужем собираются пойти в гомпу. Она не могла объяснить причину этого решения, как не может объяснить человек, почему ему снится тот или иной сон. Они

просто чувствовали: надо идти. Возможно, это был зов ритуала, возможно — попытка найти смысл в исчезающем мире, возможно — просто привычка следовать маршруту, когда все маршруты уже потеряли значение.

Они хотели, чтобы Падма пошла с ними. Девочка стояла у окна, и её лицо было непроницаемо, как маска. Она категорически отказалась. Не плакала, не спорила, просто шагнула назад и прижалась к Алексею. Это движение было неосознанным, почти инстинктивным, как у животного, выбирающего укрытие перед бурей.

Полина наблюдала за этим с удивлением. Почему к нему, а не ко мне? — подумала она. Девочка выбрала не её, женщину, чья природа предполагала заботу. Она выбрала Алексея. Человека, который сам превращался в абстракцию, в набор формул и теорий. Возможно, в этом и заключалась логика. Ребенок искал защиты не у тепла, которое угасало, а у холодной, ясной структуры, у последнего островка порядка, пусть даже этот порядок был порядком безумия. Или, что более вероятно, она инстинктивно чувствовала то, чего еще не понимала Полина: Алексей, говорящий о ненужности человечества, был ближе к истине, чем те, кто все еще пытался молиться.

Дмитрий Станиславович и Наталья Сергеевна ушли вдвоем. Их фигуры, удалявшиеся по тропе к монастырю, казались двумя запятыми в предложении, у которого уже не будет точки.

(без даты)

Наталья Сергеевна и Дмитрий Станиславович не вернулись. Родители Падмы тоже.

Мы ходили к гомпе, просто чтобы убедиться. Она еще стоит, но это уже не монастырь. Это лишь его очертания. Его стены слились с цветом неба, которое теперь и днем и ночью одинаково серое. Там больше не пахнет можжевельником и топленным маслом. Там ничем не пахнет. Звук барабана, похожий на биение сердца, который мы слышали в первый день, — лишь воспоминание. Теперь там тихо. Абсолютно.

Мы вернулись в нашу деревню, которая тоже стала просто эскизом, наброском. Мы больше не ждем.

Сейчас идет снег. Не снег, а так, серый пепел, падающий с серого неба. Падма сидит на холодной земле и ловит эти снежинки языком. Алексей сидит рядом и держит ее за руку.

Наверное, его рука очень теплая.

И в этот момент я поняла. Во всем дедушкином триптихе, во всех его лабиринтах смыслов, во всех его сложных конструкциях и красивых метафорах нет ни единого слова о тепле человеческой руки. Он так старательно описывал мир, что забыл его почувствовать. Это и была его главная ошибка. Наша главная ошибка.

Может, поэтому мир и решил от нас отдохнуть? Мы слишком много думали и слишком мало чувствовали.

Я пишу это, и свет от свечи дрожит... Или это дрожат мои пальцы. Но это уже не важно.

Битва при Бунъэй

Пролог

На далёком севере Японии, там, где горы сжимают вас в цепкие объятия, а ветер поёт в соснах древнюю песню, спряталась маленькая деревня, почти забытая миром.

Полгода здесь лежит снег, мягкий и бесконечный, укрывая кривые крыши и узкие улочки, заглушая звуки жизни, пока не останется лишь безмолвие — тишина столь глубокая, что кажется, будто само время затаило дыхание.

Дома здесь старые, чёрные от бессчётных зим. Их окна тускло светятся янтарным обещанием тепла — зыбкого, как дым из труб, тянущийся в блеклое небо тонкими, надеждами сотканными нитями. Люди движутся медленно, укутанные в слои многослойной, заштопанной одежды, на лицах — спокойная обречённость тех, кто давно разучился ждать чудес, но всё ещё умеет терпеть.

В этой земле живёт печаль. Глубокая, древняя, как сами горы и широкая как снежные поля. Не резкая боль утраты, а тягучая тоска, оставшаяся после всего мира — тоска всего человечества, вплетённая в будни. Она живёт в пустых полях, в молчащих храмах, в детском смехе, который не никогда не достигает небес.

И всё же в этой бедности, в этой тишине существует нечто похожее на мир. Деревня живёт, как жила всегда: переживает вьюги, голод, годы, которые каплют, как талая вода с крыши. А когда зимним вечером начинает падать снег — превращая мир в серебряный покой — всё это становится почти прекрасным: грусть, безмолвие, крошечные огоньки, не теряющие отваги даже во тьме.

...Но именно в эту тихую, по-самурайски тоскливую хрупкость бытия вот-вот обрушится буря — буря бюрократического безумия и почти международной авантюры.

Глава первая

В этой глухой, обветшавшей до мозга костей деревушке Хигасикума, где зима была теплее, чем приём, оказываемый чужакам, здание муниципалитета возвышалось как памятник одновременно архитектурному и нравственному разложению.

Линолеум по краям скукожился, словно засыхающий лист, батареи шипели с бессильной яростью тысяч бюрократов, а единственное, что здесь когда-либо шло по расписанию — это часы. Но и те, разумеется, были сломаны.

В самом сердце этого чиновничьего мавзолея восседала новая секретарша — выглядевшая настолько не к месту, что местные бабки быстро окрестили её «Мисс Токио» — словно родом она была не из мегаполиса, а из инфекционного отделения. Высокая, красивая, с тем изящным холодным достоинством, какое бывает только у женщин, для которых теплые батареи и обувь без дыр — вещи само собой разумеющиеся. Её длинные, грациозные ноги с математической точностью были закиданы на стопку неразобранных — и весьма подозрительных — муниципальных отчётов. Звали её Аюми Сато, и в данный момент она лениво развалилась в потрёпанном офисном кресле, в ушах — наушники, на лице — буддийское равнодушие, а в руках — пилочка для ногтей, которой она делала педикюр под ритмы Left Out in the Cold группы Sparks.

Единственные признаки жизни в этом учреждении подавленного безразличия — это вконец отчаявшееся комнатное растение, и бухгалтерские отчеты, у которых, в отличие от растения, надежд не было с самого начала.

Хрупкое спокойствие этой почти спа-процедуры разрушилось, но не от привычного храпа мэра Кацухиро, регулярно доносящегося из глубин его чиновничьей берлоги, и не от жалобного мяуканья полуголодного муниципального кота, а от взрывоподобного появления господина Хироси Танаки — муниципального бухгалтера, а куда более важно — тестя мэра, хоть и в маразме, но столь же незаменимого, как код замка на муниципальном сейфе.

Дверь, давно лишенная верхней петли и потому славящаяся оперным драматизмом входа, распахнулась с таким грохотом, словно за стеной началась артиллерийская дуэль. Пилочка госпожи Сато на секунду зависла в воздухе — как грациозная розовая запятая недоумения.

Господин Танака, с лицом, перекроившимся в гримасу паники, вперемешку с невымытыми усами, напоминал испуганного хорька, которому впопыхах надели жилетку из бабушкиного сундука и страдавшего хроническими нервными приступами.

— Где мэр?! — взвыл он голосом, треснувшим как тарелка из дешевого фарфора. — Где этот бесполезный... зять, блядь... Ему звонят из Токио! Из Токио, понимаешь?! Всё срочно!

Аюми, не удостоив его даже беглого взгляда, прибавила громкость в телефоне. Голос бухгалтера стал уютно глухим — как пчела, бьющаяся в банке.

— Аюми Сато! Госпожа Аюми Сато! — захлопав по полу своими ботинками, Танака приплясывал, словно надеялся передать срочность ситуации через вибрацию досок. — Офис губернатора! Туристы! Богатые! Саудиты! Где он, этот долбанный мэр?!

Аюми наконец подняла взгляд. Её выражение напоминало энтомолога, впервые увидевшего таракана с тремя глазами. Она сняла один наушник с той степенной медлительностью, с какой женщины обучаются выслушивать мужчин, которые глупее офисного фикуса.

— Он на рыбалке, — произнесла она спокойно и холодно, как гладь декабрьского озера.

Танака уставился на неё, разинув рот, как будто она только что заявила, что мэр сбежал с моржихой.

— Что значит на рыбалке?! Сейчас?! Когда Токио на линии?! Когда саудиты летят?! Когда... такое...

Аюми пожала плечами, вернула наушник на место и продолжила педикюр.

— Сказал, нужно поймать что-то большое, и до ужина, — произнесла она, имея в виду, вероятнее всего, не рыбу, а похмелье или очередную любовницу.

Танака издал звук, напомнивший смесь стонов, всхлипов и проклятий, и вылетел из кабинета, оставив за собой шлейф из документов, вьющихся в воздухе, как крылья чрезвычайно озадаченной курицы.

Тем временем, на промерзшем до треска берегу озера Хачиман, мэр Кацухиро — человек, у которого моральный компас вращался как рулетка в казино — действительно «рыбачил».

Правда, под «легендарной форелью», о которой он без особой убедительности вещал своей слишком умной секретарше, скрывалась тепловатая банка дешевого пива, а собственно «рыбалка» сводилась к унылому забрасыванию лески в стоячую промерзшую лужу (сами жители называли её гордо — Озеро), пока сам мэр, свесивший пузо впереди себя, как разведывательный отряд, развалился на складной табуретке, и одной ласковой, маслянистой рукой теребя крайне приветливое бедро госпожи Мацуда — хозяйки местного кафе и производителя отменной квашеной капусты. И, по совместительству, обладательницы бюста, куда как более утешительного, чем любой надвигающийся бюрократический апокалипсис.

В то утро клевало одно — северный ветер. Но мэра это не смущало. Он уже поймал всё, что хотел: государственную дотацию, наивного бухгалтера, и, если слухи не врани, секретаршу, которая чересчур сообразительна для подобных мест.

Но когда отчаянный вопль бухгалтера эхом прокатился по льду, даже мэр начал подозревать, что в этом году «Битва при Бунъэй» может оказаться не победой, а капитуляцией.

Глава вторая

Как, мы уже заметили ранее, на берегу озера, где лёд был достаточно прочным, чтобы выдержать небольшой автомобиль, но абсолютно непригодным для нагрузки в виде муниципальной

ответственности, мэр Кацухиро сидел с видом человека, в жизни которого не случилось ни того, ни другого.

Его удочка — музейный экспонат ещё честных времён — уже безжизненно свесилась в прорубь, в то время как в другой руке он с почти религиозной преданностью сжимал ещё не замерзшую банку дешёвого пива. Рядом с ним гордо восседала госпожа Мацуда. Её щёки пылали краснее её же репутации, а бюст, как всегда, без стеснения заслонял всё обозримое будущее.

Она отхлебнула из своей банки и посмотрела на мэра взглядом, в котором в равных долях плескались нежность и подозрение.

— Ну что, Харуто, как твоя секретарша? Эта ваша мисс Токио. Странная она, правда?

Мэр хмыкнул, буравя взглядом свой промёрзший поплавок с сосредоточенностью человека, который за всю жизнь искал лишь налоговые отсрочки и оправдания.

— Сидит весь день в телефоне, музыку слушает. Думаю, у неё аллергия. На документы. Или на деревенских. А может, на всех сразу.

Госпожа Мацуда фыркнула.

— И как такая женщина сюда угодила? Если она прячется от мужа — так в Токио-то исчезнуть куда проще. Там никто никого не замечает. А здесь чихни — и вся деревня уже знает, какого цвета у тебя носовой платок.

Кацухиро пожал плечами, и его живот согласно задрожал.

— А может, ей снег нравится. Или тишина. Или, может, она просто такая же сумасшедшая, как и мы.

Прежде чем госпожа Мацуда успела выдать очередную оценку здравомыслию окружающих, по льду, поскальзываясь и размахивая руками как в каком-то трагикомическом балете, пронёсся человеческий вихрь. За бегущим волочился шарф, развевающийся, будто флаг бедствия. Это был господин Хироси Танака — тот самый тесть мэра и одновременно человек, которого даже местные жители часто путали со стареющим гномом в состоянии панической атаки.

Но в этот момент он походил скорее на участника бегства от разъярённого барсука, чем на муниципального бухгалтера, и уж тем более гнома.

— Проклятье! Харуто! То есть... господин мэр! — выдохнул он, разбрасывая слова, словно мелочь по мостовой. — Они звонили! Из канцелярии губернатора! Из самого Токио! Говорят... туристы! Богатые! Саудиты! Они летят! На наш грёбанный [не как в оригинале] праздник! На вертолёте!

Мэр моргнул. И снова моргнул. Потом еще раз моргнул. Как будто он пытался осознать, что по воздуху сюда может прибыть что-то ещё, кроме метели.

— Успокойся, Хироси. Саудиты, говоришь? Ну так встретим. Окажем, так сказать, радушный приём. Квашеной капустой госпожи Мацуды накормим... И тёплого пивка предложим — для согрева?

Глаза бухгалтера сделались размером с, пусть и небольшую, но префектуру.

— Пиво?! Это ж арабы! Они ж не пьют! А что мы им покажем, а? У нас никаких праздников не было уже лет десять! Мы только отчёты пишем да фотографии шлём!

Лицо мэра, обычно гладкое и закрытое, как налоговая декларация, в этот момент стало похоже на разваливающуюся икебану.

— Ёб... [японский бог] Придётся что-то устраивать. Нужны костюмы самураев. Музыканты. Флаги какие-нибудь... Придётся ехать в город.

— А это... деньги! — взвыл бухгалтер. — И кто у нас в деревне полезет в ледяную воду?! В прошлый раз у госпожи Накамуры чуть палец не отморозился — и то, только чтобы на фотке выглядело, как будто она плывёт! И после того памятного случая со стариком Сато, который в девяносто третьем чуть не утонул, ныряя за оброненной вставной челюстью, никто в это озеро даже ногой не ступал! Мы же не обезьяны какие-то!

Госпожа Мацуда, наблюдая за этим нарастающим мужским бедламом с тем видом, каким травмированный бармен смотрит ранним

утром субботы в деревенском пабе, наконец вмешалась. Она грациозно, хоть и слегка нетвёрдо, поднялась, отбрасывая на лёд внушительную тень, в которой постепенно растворялось всё мужское малодушие.

— О, ради всего святого, мальчики... — пробормотала она, подбирая оставшиеся банки. — Какая трагедия. Давайте допьём спокойно — и пойдём ко мне в трактир. Там и решим. Хороший, крепкий sake всё расставит по местам. А ты, Кацухиро, ты ведь мэр, ты же умный человек. Поедешь в город, найдёшь костюмы, наймёшь музыкантов, подмажешь кого надо — ты же это делаешь лучше всех.

Мэр осушил банку в один длинный, печальный глоток — будто надеясь утопить все свои проблемы прежде, чем они научатся плавать. И троица, каждый волоча за собой свою персональную безысходность, потопала в сторону деревни, пока снег кружился вокруг них, как конфетти на похоронах, а в их головах уже рождался новый, поистине грандиозный спектакль районного масштаба — крупнейшая по затратам инсценировка со времён отставки Хирокадзу Мацуно.

А позади них удочка качалась в ледяной воде, забытая и одинокая — совсем как правда на съёмочной площадке Toei Uzumasa Eigamura в Киото, в день, когда не пускают туристов.

Глава третья

Как же меня всё это задолбало. Саудиты, Саудиты, Саудиты. Господи ты мой квашеный, какого хрена им сдалась эта замёрзшая задница Японии на новогодние праздники? Заснеженная жопа мира.

Что, в Саппоро места не нашлось? В Токио не хватило магнетиков для туристов? Или тяжело просто купить открытку, посмотреть на неё и назвать это «культурным опытом»? Нет же. Им подавай аутентичность, снег, самураев, женщин в озере, весь чёртов кабуки-пакет. Ну почему они не приехали летом — я бы им и фотки показал, прошлогодние, и позапрошлогодние, и до того. Всё одно и то же: природа, снег, фальшивые самураи, женщины визжат в проруби, парик старика Накамуры уплывает в закат...

Мисс Токио, Аюми Сато... Вот кто бы впечатлил. Голая в снегу — одни ноги до ушей, копна волос, и этот взгляд... такой, будто она видела мужчин

получше, чем я, и всех их оставила позади, скучая. Если б я был её мужем... но нет. Мне досталась Кумико. И её папаша — старый придурок Хироси, который не отличит криптокошелёк от кочана капусты. Зачем я вообще пустил его в бухгалтерию? Он свои зубы сосчитать не может, а теперь все кругом хотят деньги, деньги, деньги. Театр просит за костюмы, музыканты — за музыку, военные — за обогреваемые палатки. Обогреваемые палатки! В мои времена мы мёрзли — и гордились этим. А теперь все хотят тепло... и все хотят деньги.

И деревенские мои... Как же я их заставляю прыгнуть в ледяное озеро? Да они ж там сдохнут, отморозят всё, подадут в суд — и всё, прощай дотации, прощай маринованная редька, прощай пиво. Разве что купить им гору бухла, чтобы они хотя бы сапоги сняли, не то, что одежду. Может, если Аюми напьётся как следует, забудет, что она из Токио, забудет, что ей слишком хорошо для этого захоlustья, забудет, что вообще не должна быть голой перед мэром. Может, и я забуду. Забуду Мину, эту бесконечную квашеную капусту, бесконечную грудь, и бесконечное нытьё про холод, туристов, Саудитов, снег, жену, старого тестя. Вечный, мать его, снег.

Снег, снег, снег. Вот чего хотят эти проклятые арабы. Приехали, понимаешь, из жаркой пустыни, где только нефть и дворцы... Им подавай по-настоящему, верблюдов им мало. А попробовали бы тут пожить — без субсидий, без понтов, с дешёвым пивом и сожалениями. И sake по праздникам. Если бы старый маразматик хоть что-то понимал в этой моей крипте, обналичил бы её, перевел всё, и бац — появилось бы у меня в кармане. У любовницы в баре. У музыкантов и актёров. У военных. И даже у этих дегенератов из «производственного кооператива «Самурайские будни».

Завтра собрание с жителями. Придется уговаривать их нырять в прорубь, махать мечами, изображать героев, хотя по факту все они — замерзающие фермеры с радикулитом. Одна кружка sake тут не поможет — ни им, ни мне. Здесь только виски спасёт. Много виски. Или чудо. Но виски — в первую очередь.

Не забыть про виски. Не забыть про взятки. Не забыть про Саудитов. Не забыть улыбаться. Не забыть врать. Не забыть выжить.

А если всё пойдёт к чёрту — ну, всегда есть следующий год. Или тот, что после. Или через один. Всё равно ведь будет то же самое.

На вертолете, да...

Глава четвертая

Здание деревенского клуба — архитектурное чудо, словно спроектированное бригадой пьяных плотников и заброшенное на полпути — было битком набито почти всем населением Бунъэя.

Все сорок семь душ. Не считая любовницы мэра, которая физически отсутствовала, но духовно присутствовала — в виде бочонка с маринованной редькой, присланной вместо себя.

Мэр Кацухиро стоял у трибуны. Пояс на животе натянут до предела. На лице — выражение человека, только что столкнувшегося с особо злокачественной формой японской бюрократии. Рядом с ним, как призрак где-то существующей цивилизации, стояла Аюми Сато – «Мисс Токио» — воплощение осанки, в глазах которой таилась немая скорбь по собраниям, где все носят обувь и пахнут не маринованной редькой, а, скажем, духами.

— Друзья мои! Благородные жители деревни! — возгласил мэр, и его голос разнёсся по облезающим стенам.

— Мы собрались сегодня на пороге великой возможности! Настоящий шанс для Хигасикумы засиять — взмыть, как феникс, из собственного вечного пепла!

Он сделал театральную паузу. В зале раздался только синхронный всхлип – как будто сразу у нескольких присутствующих потекло из носа.

— В этом году наша скромная деревня примет поистине историческое событие! Богатые туристы из Саудовской Аравии — да, именно оттуда! — прилетят к нам на вертолётё посмотреть на наш славный национальный праздник — Битву при Бунъэе!

При этом, он размахивал руками как аукционист, пытающийся продать заброшенный дом с привидениями.

В зале пробежал ропот — смесь подозрения, простуды и хронического недоверия. Старая госпожа Накамура, не покидавшая свой дом с эпохи премьерства Какуэя Танаки, сощурилась и посмотрела на мэра так, будто он только что превратился в особо сомнительную репу.

— А зачем им к нам, зимой?! У них же там пустыни, верблюды и это всё. Им же холодно будет. Холодно, Харуто!

Но мэр не сдался.

— Они хотят увидеть подлинный дух самураев! Настоящую японскую традицию! Именно поэтому я заказал из города самурайские костюмы, мечи, армейские палатки с отоплением — да-да, с отоплением! Будут музыканты! Флаги! Вам всего-то и надо — переодеться и инсценировать великую битву между самураями и монголами на льду озера!

Из глубины зала взмыло нетерпеливое «А почему мы?!». Это был господин Ямада.

— Мы фермеры, а не актёры! Почему ты не привёз настоящих театралов? Мы ж будем выглядеть как клоуны, мэр! Как полные идиоты!

Улыбка мэра слегка пошатнулась, но не исчезла.

— Клоуны?! Друзья мои, только вы способны показать подлинную гордость самураев Бунъэя! Не эти примадонны из Токио. Здесь — подлинность! А после битвы будет праздник! Музыка, закуски и, — он сделал паузу, как перед выстрелом, — и бесплатный алкоголь!

Пауза. Мозговой процесс присутствующих явно активировался.

Актёрская подготовка у жителей, мягко скажем, отсутствовала — большинство едва изображали себя счастливыми в собственный день рождения — но слово «бесплатный» сработало, особенно в паре с «алкоголь».

В зале раздались звуки невнятного одобрения.

— И теперь, — продолжил мэр, наращивая пафос, — самое главное! После битвы мы все ныряем в наше великолепное ледяное озеро! Это и есть настоящий самурайский дух! Саудиты будут в восторге!

Зал моментально онемел. А затем, как единый организм, отпрянул.

— В озеро?! В такой холод?! Мэр, да иди ты сам туда нырни! — заорал господин Сато, известный тем, что последний раз добровольно мылся во время Тайфуна №12.

— Моя бабка умерла от холодной ванны! Это не героизм — это гипотермия! — завопила одна из женщин, грозно потрясая кулаком.

Мэр поднял руки. В знак мира. Или капитуляции.

— Подождите! Подождите! Взамен я обещаю пир! Жареная утка, свинина, тушёная капуста и столько сакэ, и даже виски, сколько сможете выпить!

Вот теперь он заговорил на родном языке.

Настроение в зале ощутимо сменилось.

— Ну... если будет свинина и тушёная капуста... — пробурчал старик Накамура, прищурившись на мэра, как хищник на добычу. — Тогда, может, и окунусь.

— С виски да сакэ мне море по колено! Даже если это озеро! — заявил господин Ямада, который однажды пытался доплыть до Хоккайдо после трёх бутылок сливового вина.

— Ладно, — пробормотала дама с околевшей в ванне бабушкой, — если будет настоящая свинина... и капуста... горяченькая, с васаби... ну, ладно. Нырну. Но только ради гуляша.

С края зала Аюми Сато, наблюдая за этим с выражением человека, невольно попавшего в комедийную адаптацию «Войны и мира», задумалась: «Наверное, именно это мама и имела в виду, когда говорила – «расширяй горизонты». И мысленно добавила пункт в список: заказать побольше полотенец и дефибриллятор.

Мэр, почуяв победу, просиял.

— Вот это настрой! Хигасикума покажет миру, из чего сделаны настоящие самураи: из свинины, капусты и алкоголя!

И пока жители выходили из зала, несясь на волне предвкушения и ожесточённо споря, кому достанется первый ломоть утки, мэр позволил себе редкий проблеск оптимизма.

Что же может пойти не так?

Глава пятая

День Великого Фестиваля начался с такой метеорологической свирепости, словно рассерженное божество решило, что деревня Хигасикума нарушила не только исторические каноны, но и закон о климате.

Одним только снегом небеса, видимо, были неудовлетворены — сверху обрушивался град размером с замороженный горошек, да ещё и под таким ветром, что, казалось, он способен ободрать линолеум с крейсера. Всё вокруг страдало: крыши, лица, и даже вера людей в здравый смысл.

Деревенские, закутанные в термобельё и экзистенциальную тоску, шарахались по берегу озера в самурайских доспехах, сшитых, похоже, из старых штор и амбиций. Пластмассовые мечи уныло свисали к земле, внешне и морально поникшие. Единственное, что объединяло бойцов Бунъэя, — это коллективное похмелье, достойное императорского декрета.

Саудовская делегация прибыла на вертолёте, который выглядел настолько дорогим, что его присутствие в радиусе пяти километров от деревни можно было считать оскорблением логики. Из него сошли пятеро мужчин в длинных белых одеяниях, на лицах у которых застыло вежливое культурное изумление. К ним присоединилась Аюми Сато, сама Мисс Токио, которой судьба уготовила роль гида, переводчицы и, судя по выражению лица, морального утешителя. Она двигалась с той лёгкой отстранённостью, какой обладают люди, хорошо понимающие: чтобы выжить в сельской Японии, главное — держать дистанцию. Для саудитов она была загадочной, но элегантной проводницей по этому карнавалу сельского идиотизма.

Господин Кацухиро, обливаясь холодным потом в своём «доспехе» — лаковой рисоварке и щитках от детского футбола, — скатился к берегу и с энтузиазмом скандального телеведущего закричал:

— Вперёд! Покажем им дух Бунъэя! Бейтесь, как настоящие самураи! А потом — в озеро! Вперёд! На подвиг!

Жители посмотрели на него так, как будто он только что предложил съесть собственные пластмассовые мечи. Даже сакэ, которое лилось с самого утра, оказалось бессильно против града, холода и здравого смысла. Старая госпожа Накамура, наряженная, по сюжету, в монгольского воина, стояла, прикрывшись щитом, как зонтом, и бормотала проклятья сразу на четырёх диалектах.

Саудиты меж тем скучковались под шатром, лица их застыли в выражении «вежливый ужас». Один из них попытался сделать фото, но его телефон замёрз и отключился. Впрочем, как и его интерес к культурному обмену.

Аюми, бледно держащая фасон профессионала, старалась озвучивать происходящее на трёх языках (английский, японский и фарси, который она посчитала арабским), но её голос глох в урагане и унылом мычании подмёрзших актёров. Музыканты, выписанные из города за совершенно позорный бюджет, исполняли череду «боевых» песен, перемежаемых «Let It Go» из «Холодного сердца», которая с каждой минутой казалось все уместнее.

Госпожа Мина Мацуда, грудью попирающая законы термодинамики, как-то достигла стадии опьянения, при которой ни температура, ни логика больше не имели власти над ней. Щёки её алели, покрасневшись до цвета особо ядреной квашеной редьки, а в глазах плясал огонь женщины, находящейся на грани либо просветления, либо обвинения в публичном непристойном поведении.

— Да пошло оно всё! — рявкнула она, и её возглас эхом разлетелся по озеру.

— Плевать на этот холод, плевать на этот снег, плевать на этих туристов! Это наш праздник!

С героическим покачиванием она рухнула в ледяную воду. Поднялось облако брызг, меловой жижи и лёгкий аромат капусты. Наступила тишина.

— Если Мина-сан пошла — и я пойду, — прошептал один из фермеров, перекосячив свою бутафорскую каску, и нырнул вслед. Затем, освобождённые алкоголем, как древнего заклятия, со стадной

солидарностью и жадой жаренной свинины, деревенские дружно бросились в озеро с криками, воплями мата, которых не найти в словарях Японской академии.

Господин Кацухиро, не желая выглядеть отстающим (да и чужа фоторепортаж в газету префектуры), сбросил с себя рисоварку и сиганул следом. Вскоре вынырнул с триумфальным воплем «Банзай!» и волосами, напоминающими водоросли.

Музыканты, давно утратившие чувствительность в пальцах, переглянулись, вздохнули, положили свои инструменты и с тоской прыгнули за остальными. Парики, купленные для них мэром, беспомощно поплыли по озеру, как утонувшие шиншиллы.

Мэр, трясясь от холода и энтузиазма, повернулся к музыкантам, зубы стучали в ритм града:

— А теперь пусть и саудиты ныряют! Покажем им настоящую самурайскую доблесть!

Руководитель группы, почтенный Такахаси, который когда-то играл на дне рождения собаки кузена императора, покачал головой:

— Они уже улетели. Замёрзли, заскучали — и улетели.

Мэр моргнул. Потом пожал плечами. При этом вода текла из его ушей, как из бракованного чайника.

— Ну и плевать! Это наш праздник! Сегодня — мы самураи, мы камикадзе! Банзай!

Над замерзшим озером разнеслось рваное, пьяное эхо «Банзай!», этот звук свидетельствовал не о древней доблести, а о непреходящей силе ошибочного энтузиазма и обильного количества дешевого алкоголя.

Так прошла «Битва при Бунъэе». Впервые за десять лет — настоящая, искренняя, победная. По крайней мере, по стандартам Хигасикумы, где единственным, что было более стойким, чем традиция, было следующее за ней похмелье.

Глава шестая

Зачем я сюда приехал? В эту деревню с названием, которое даже прочитывать нельзя, не то, чтобы выговорить — Сигасикума? Шигасукама? Хагисашама?.. Кто знает. Кого волнует. Пилот вертолёт не знал тоже, просто махнул рукой в сторону сугробов, как бы говоря: «Вот, тут. Сюда приходят умирать мечты».

Холод. Такой холод. Холоднее, чем сердце моего дяди, когда я попросил у него второй «Ламборгини». Холоднее, чем взгляд моей жены, когда я сказал, что лечу в Японию «по делам».

По каким ещё делам? Смотреть, как полудеревенские самураи в махровых халатах с пластмассовыми мечами изображают массовку из неудачного фильма, даже не Netflix — какой-то YouTube с тремя просмотрами и двумя дизлайками. Даже обезьяны в Нагано веселее выглядели: у тех, по крайней мере, достаточно ума, чтобы сидеть в горячей воде, а не прыгать в эту промерзшую лужу.

Что они тут делают, эти люди? Зачем они так живут?

Чай. Один чай. Никакого кофе. Ни кардамона, ни шафрана, только кипятки с листьями в треснутых чашках. Я просил кофе — мэр кланялся, улыбался, зубы стучат, живот колыхается — как сумоист, заблудившийся в овощном магазине. Я просил кофе — он предлагал ещё чаю. Чай. Вода с листьями. Это гостеприимство? Это культура? Это фестиваль? Над этим шейх будет смеяться. Уже смеётся. Я попросил фиников — он принес квашеную капусту и редьку. Я просил тепло — он дал палатку с дырой в крыше.

Но мисс Аюми... ах, мисс Аюми. Роза среди шипов. Алмаз в деревенском огороде. Высокая, сияющая, смеётся, как музыка. Её рассказы о деревне — такой абсурд, такая поэзия. Как она здесь оказалась? Что она здесь делает? За что сослана в это место, забытое Аллахом и всеми пророками? Ей бы в Токио, в Париже, в Эр-Рияде — где угодно, только не здесь, не с этими людьми, которые считают, что фестиваль — это стоять на морозе и изображать, будто бьёшься с монголами.

И эти «самураи»... какие самураи?.. Лунатики. Полудохлые. Один чихнул так, что парик улетел. Другой пытался вытащить меч — уронил его в снег. Мэр кричит: «Честь! Доблесть!» — а на него смотрят, как на психа. Может, он и есть псих.

Нет, обезьяны точно веселее. У обезьян — хоть горячая вода есть. У обезьян — никто не вливает в тебя капустный рассол под видом национального напитка. И обезьяны хотя бы не строят из себя то, чем не являются.

Обезьяны показали бы лучшее представление. Натуральные ужимки. Весёлые. Аутентичные. А тут — пластмасса и зубовой стук. Этот фестиваль? Сидеть и смотреть, как люди воют на ветру, машут палками, потом пачками лезут в ледяную прорубь, как в чан со льдом. И эта женщина... подруга мэра? Или жена? Кто её знает. Просто прыгнула туда — бах! — прямо в лёд. С ума сошли. Все. Минусовая шизофрения. Зачем? Для кого? Ради чего?

Нет. Мне не по пути с этим народом. Лучше улететь. Сейчас. Пока пальцы ещё двигаются. Пока лицо не отмерзло окончательно. Какая нелепость.

В следующем году — поеду в Швейцарию. Или останусь дома.

Там, по крайней мере, есть нормальный кофе.

Глава седьмая

Мэр проснулся от жуткого стука в дверь, будто кто-то всерьёз намерился снести не только стены его дома, но и остатки достоинства, а заодно — всю деревню. Это был не просто стук — это было оповещение: либо полицейский рейд, либо визит тёщи. А то и хуже — оба варианта сразу.

Этот грохот отскакивал эхом у него в черепе, который уже стонал от вчерашнего героического запоя, в ходе которого мэр пытался утопить все свои проблемы в сакэ, но вместо этого утопил только трезвость и пару заначек.

— Кто... во имя всей грёбанной матери?! — прохрипел он голосом, пропитанным перегаром, сожалениями и засохшими остатками энтузиазма.

Поднялся, споткнулся о фuton, потянулся к ближайшей открытой бутылке. Мир слегка стабилизировался, пусть и под углом в сорок градусов. Стук продолжался — теперь уже с весёлым хором голосов, подозрительно бодрых для столь раннего утра. Музыканты. Ну конечно. Кто ещё способен радостно орать после ночи, наполненной пьянством, обморожениями и массовым унижением?

Он открыл дверь — и там они стояли. Шарфы набекрень, глаза красные, а души — словно только что выпущены из климатического ада.

— Господин Кацухиро! Доброе утро! Мы за оплатой! — щебетнул один, словно в восемь утра во время снежной бури этого было вполне достаточно для счастья.

Голова мэра затряслась от боли, как протухший бубен.

— Вы не звонили бухгалтеру? — выдавил он, прижимая к себе бутылку сакэ, как бык — спасительное ведёрко воды.

— Звонили, — бодро кивнул музыкант. — Он не отвечал. Мы решили, что, может, замёрз насмерть.. но потом вспомнили: он слишком жадный, чтобы умереть до получки.

Стиснув зубы, мэр натянул пальто поверх пижамы и повёл их через засыпанную улицу, где ветер уже похоронил остатки вчерашнего праздника. Всё выглядело, как поле сражения после капитуляции: флаги повисли, мечи валялись в снегу, на фонаре болтался парик какого-то отважного, но лысеющего «самурая».

Внутри клуба — только одна живая душа. Каямо Мацумото, пожилая уборщица, которая двигалась размеренной, неторопливой походкой человека, для которого время давно перестало быть актуальным понятием. Она мыла пол с мрачной философской решимостью человека, который слишком много видел и убирал за всем этим.

— Где Мисс Токио? — раздражённо бросил мэр, голос отдавался эхом по вычищенному линолеуму.

— Последний раз я её видела с этими, как их... саудитами, — не отрывая взгляда от швабры, буркнула уборщица. — Говорила, пойдёт их провожать. Счастливая такая, не как вы.

Мэр выдал такую тираду проклятий, что сумоистам стало бы стыдно. Он рванулся к сейфу, крутанул диск, дёрнул ручку и... уставился в зияющую пустоту. Ни холодного кошелька, ни иены, ни книги учёта, ни даже моли.

Он затрясся так, что музыканты инстинктивно отступили назад.

— У него припадок? — прошептал один.

— Или это просто способ начать переговоры? — предположил другой.

— Звони бухгалтеру! — зашипел мэр, обернувшись к уборщице.

Но звонить не понадобилось. Будто вызванный самой чистой, незамутнённой паникой, в дверях появился Хироси Танака — бухгалтер, тесть и ходячее опровержение эволюции. Он тормознuto втоптался внутрь, глаза мутные, мозг где-то в анабиозе. Вместо телефона или бумажника — пивная банка, уже открытая. Сделал крошечный глоток. Вежливый.

— Где деньги?! — взревел мэр, двинулся на старика, как саранча на всё живое. — Где деньги, старая развалина?! Где Ledger?!

— Ledger?.. — переспросил тот, нервно озираясь. — Как... бухгалтерская книга?

— Криптокошелёк! — взвыл мэр, с налившимися кровью глазами.

И тут лицо старика медленно озарилось проблеском осознания, напоминающим слабое воспоминание о попытке понять что-то в жизни.

— А, это... Я попросил секретаршу помочь. Ну, вы ж знаете, я с техникой не дружу... Аюми сказала, что всё устроит. Она ведь умелая, с компьютерами-то.

Мир мэра накренился. Комната пошла кругом. Музыканты как будто превратились в карикатурный калейдоскоп осуждающих лиц. В одну секунду он увидел всё: субсидии, липовый фестиваль, жареную утку,

виски, саудитов — и пустой сейф. И секретаршу, исчезающую в белоснежной дали с сумочкой цифровой наличности.

Всё ушло. Карьера. Махинации. Мечты о ранней пенсии в Окинаве. Улетело. Или утонуло. А может — и то, и другое.

Он обмяк, рухнув на пол, и музыканты склонились над ним с профессиональным любопытством людей, видевших, как падают мужчины, но ни разу – чтобы вот так правдоподобно.

— Может, сыграем что-нибудь?.. — несмело предложил один.

— Может, реквием, — кивнул другой.

Но мэр уже ничего не слышал. Лишь далёкое эхо собственного краха, прокатывающееся по заснеженным и опустевшим улицам Хигасикумы.

Глава восьмая

В сияющем стеклянно-стальном улье Токийского управления полиции отдел по борьбе с мошенничеством и киберпреступлениями гудел, словно перепуганный роем серверов, при том, что начальник отдела, инспектор Сакамото, ещё не успел даже допить своё утреннее кофе.

Он вышел из лифта, уже морально готовясь к привычной утренней программе: кипы протоколов, поток жалоб и обязательный придурок из младшего состава, который до сих пор считает, что «фишинг» — это про рыбалку. Но в этот раз вместо бюрократического гула его встретили истерические вопли смеха.

Группа детективов сгрудилась у одного экрана, толкаясь локтями, кто-то икал от смеха, другие вытирали слёзы. Один уже буквально хватался за стул, чтобы не упасть.

— Это у нас что, цирк? — нахмурился Сакамото. — Здесь вам не комедийный клуб, господа, а полицейский департамент!

Один из младших оперативников, всё ещё фыркая от смеха, обернулся и отсалютовал:

— Сэр, цирк не здесь — цирк в деревне Хигасикума!

— Где-где? — мрачно переспросил Сакамото, уже заранее жалея, что спросил.

— В деревне Хигасикума, сэр. Вы должны это видеть!

Он нажал «воспроизвести». На экране появилось видео: замёрзшие деревенские в пластмассовой самурайской броне, машут игрушечными мечами, скользят по льду, кто-то падает в озеро, как мешок картошки. На заднем плане — увесистый человек с кастрюлей на голове (видимо, мэр) орёт про «доблесть самураев», а сзади него музыканты бодро наигрывают главную тему из «Супер Марио».

Очередная волна смеха обрушилась на комнату.

Сакамото зажал переносицу большим и указательным пальцем.

— И каким, простите, боком всё это имеет отношение к киберпреступлениям?

Вышедший вперёд детектив попытался сохранять серьёзность, но его губы подрагивали:

— Сэр... мэр деревни Хигасикума годами воровал государственные субсидии, отправляя фальшивые отчёты о якобы проводимом праздничном фестивале. Но когда узнал, что к ним летят туристы из Саудовской Аравии — вдруг решил... провести фестиваль по-настоящему. На украденные деньги. Всё оплатил сам. В результате деревенские напились вусмерть, нацепили самурайские и монгольские костюмы... и — внимание! — массово прыгнули в ледяное озеро!

— Пьяные фермеры, сэр, изображали монголов! — уже кричал один из сотрудников отдела со слезящимися от смеха глазами. — Половина рухнула в воду до того, как «бой» начался. А любовница мэра — так она вообще первой прыгнула. Героически пьяная!

Сакамото пристально уставился на них.

— ...То есть вы мне хотите сказать, что он использовал собственные украденные деньги, чтобы прикрыть собственную многолетнюю аферу?

— Именно, сэр! Часть, — кивнул детектив, всё ещё с хихиканьем. — Но это ещё не всё. Смотрите.

Он включил следующее видео. На экране — зернистая запись с камеры наблюдения: мэр Хигасикумы в панике открывает сейф... видит пустоту... и валится на пол в истерике. Вокруг него — растерянные музыканты.

— С утра выяснилось, что все средства мэра — его криптокошелёк, бюджет поселения — исчезли. До последней иены. Всё. Ба-бах — и пшик!

Глаза Сакамото сузились.

— И кто, скажите на милость, провернул эту удивительно изящную кару судьбы?

Наступила гробовая тишина.

— Возможно, секретарша, сэр... — неуверенно подал голос один из офицеров, указывая на экран. — Госпожа Аюми Сато. Не местная. Появилась несколько месяцев назад. Красивая, говорят. Она с утра провожала саудитов на вертолёт... и исчезла вместе с ними.

— Секретарь, говорите... — Сакамото подошёл ближе. В его уставшем от глупости мире вдруг сверкнула профессиональная искра. — Покажите мне фото. Или видео. Что угодно.

Щелчок мыши — и на мониторе появилась она. Аюми Сато — спокойная, элегантная, даже в чёрно-белой зернистости камеры. Статная, отрешённая, как ренессансная Венера с таинственной улыбкой Джоконды. Сакамото застыл. Его глаза расширились. Голова дёрнулась. Руки метнулись к вискам — мигрень ударила с силой виолончели по клавишам рояля.

— Вы... идиоты! — взревел он.

Комната захлебнулась в молчании.

— Вы не просто упустили деревенскую секретаршу с украденной мелочью! Вы... просрали Мияко Икеду! Мы два года её ищем! После того, как она обчистила криптобиржу BytNext на миллиарды и скрылась, грохнув ещё по пути пару фондов в Минаато! И вот, пожалуйста... Она была прямо у вас под коллективными, некомпетентными носами, маскируясь под деревенскую секретаршу только для того, чтобы проверить еще одно ограбление!

Вся комната уставилась на экран, затем на своего раскаленного добела начальника, затем обратно на изображение красивой, безмятежной женщины, которая так без труда одурачила не только жуликоватого мэра, но и целую, казалось бы, такую искушенную полицейскую команду.

Последовавшая тишина была настолько глубокой, что можно было услышать, как миллиарды иен растворяются в воздухе.

— Подготовьте машину, — буркнул Сакамото. — И кто-нибудь... принесите кофе. Крепкий. Очень... Мы едем в Хигасикуму.

Эпилог

Где-то в Саудовской Аравии, там, где пустыня встречается с неугомонной синевой моря, простирается дикий, продуваемый ветрами берег. Волны накатывают, древние и неустанные, а солнце садится в багрово-золотом зареве, окрашивая песок уходящим огнём.

И там, каждый вечер, одинокая фигура ступает по берегу. Высокая, грациозная и безошибочно не местная — её волосы темны, как безлунная полночь, взгляд — далек, как горизонт, а шаги легки, словно она вовсе не несёт на себе никакой тяжести. Она никогда ни с кем не говорит, нигде не задерживается, не присоединяется к смеху рыбаков или играм детей. Она всегда одна, тень, движущаяся между приливами и сумерками.

Мужчины смотрят на неё издалека, их разговоры затихают, когда она проходит мимо. Рыбаки, чинящие сети, лавочники, торгующие пряностями, даже молчаливые, древние погонщики верблюдов — их глаза следуют за ней, мерцание растерянного изумления в их взгляде. Кто она, этот безмолвный, прекрасный фантом? Где витают её мысли? Какие истории скрываются за этими спокойными, нечитаемыми глазами?

Одни говорят, что она потерянная принцесса, другие — дух моря. Никто не знает её имени, и никто не смеет спросить её имя.

Но иногда, когда ветер не слишком сильный, а луна стоит высоко, старики клянутся, что слышат, как она напевает мелодию — что-то совершенно чужое, что-то печальное, что-то, что рождает образы снега и

далёких гор, и битв, которые когда-то случились, чьих-то потерянных судеб, и душ, унесённых далеко от дома.

И вот она идет, ночь за ночью, как мираж в стране песков и прибоя...

Глоссарий:

Битва при Бунъэй (文永) - 1274 год (19-й год эры Бунъэй по японскому летоисчислению).

Известна как Первая битва в бухте Хаката, была первой попыткой монгольской династии Китая Юань вторгнуться в Японию. Завоевав японские поселения на островах Цусима и Ики, флот хана Хубилая двинулся в Японию и высадился в бухте Хаката, на небольшом отдалении от административной столицы Кюсю — Дадзайфу. Несмотря на превосходство в вооружении и тактике юаньских сил, высадившиеся в бухте Хаката не имели численного превосходства над самураями; японцы готовились, собирали воинов и укрепляли оборону с тех пор, как узнали о поражении на Цусиме и Ики. Японским защитникам помогли мощные штормы, которые потопили значительную часть монгольского флота. В конечном итоге, попытка вторжения была окончательно отбита вскоре после первой высадки. Монгольские войска отступили и укрылись на своих кораблях после всего лишь одного дня сражений. В следующую ночь тайфун, который, как говорили, был божественным ветром, угрожал их кораблям, вынуждая их вернуться в Корею. Многие из возвращавшихся кораблей затонули в ту ночь из-за шторма.

Тоёи Узумаса Эйгамура — тематический парк и съёмочная площадка, созданные по образцу периода Эдо в Киото, Япония, который открылся в 1975 году. Расположена в Киотской студии компании Тоёи, где, в том числе, снимались классические фильмы про самураев.

Хирокадзу Мацуно (松野 博) — японский политик, занимавший пост главного секретаря кабинета министров с октября 2021 года по декабрь 2023 года. В ноябре 2023 года японские прокуроры начали добровольный допрос членов нескольких фракций ЛДП, включая крупнейшую фракцию, членом которой был Мацуно, по подозрению в получении денег для подкупа в виде доходов от партий, занимающихся сбором средств, на общую сумму более 100 миллионов иен, которые не были указаны в отчётах о финансировании политических партий. Мацуно подал в отставку из кабинета министров 14 декабря 2023 года вместе с несколькими другими должностными лицами ЛДП.

Какуэй Танака (田中 角榮) — политический деятель, премьер-министр Японии с 7 июля 1972 года по 9 декабря 1974 года. Один из наиболее противоречивых японских премьер-министров послевоенного времени. Как лидер доминирующей фракции в правящей Либерально-демократической партии Танака господствовал в японской политике на протяжении 1970 — 1980-х годов, за что в прессе его прозвали «Теневым Сёгуном». Всю политическую карьеру Танаку сопровождали громкие коррупционные скандалы, что тем не менее не мешало ему завоёвывать первые места на выборах.

Камикадзе (тайфун): В японской традиции этот шторм воспринимался как «небесный знак» — божественный ветер (神風, kamikaze, Kami — «божество», kaze — «ветер»), посланный богами для защиты Японии.

Ledger — это холодный аппаратный некастодиальный криптокошелек. Он представляет собой физическое устройство, которое не имеет постоянного подключения к сети.

leger (англ.) — бухгалтерская книга.

Код(а)

Пролог

Она пришла по дороге, которой больше не было, из-за перевала, слившегося с потухшим небом. На подошвах её ботинок было что-то, похожее на влагу из ручья, когда-то бежавшего рядом с деревней. Теперь там не было воды, только сухие камни и полосы пыли. Но с каждым её шагом на серый, как пепел, снег, падали капли. Это были не капли воды. Это были капли звука.

Я знала: когда они высохнут, последняя тишина съест все. Поэтому я опустилась на колени, коснулась пальцем темной точки и втерла её в ткань земли, как мы когда-то втирали масло в лепешку.

— Ты умеешь замечать, — сказала незнакомка.

Её голос был как чай: не сладкий, не горький, просто тёплый, как ладонь, которую забыли отпустить. Голос, у которого не было эха, потому что не от чего было отражаться.

Я смотрела на неё и не сразу поверила, что она настоящая. Она казалась нарисованной — как те картинки, что иногда появляются на стенах, если долго смотреть на свет. Она была похожей на рисунок, который пытается притвориться человеком. Её очертания были слишком чёткими, а цвета — слишком ровными, будто кто-то забыл добавить тени. Казалось, что, если я моргну, она исчезнет. Но она не исчезла.

Она положила рядом со мной маленький серый камень. На камне мигнул фиолетовый глаз, и тут же зажмурился, будто испугался света.

— Это память, — сказала она. — Внутри него — целый мир и тепло одной руки. Этого хватит ненадолго. Здесь всё уходит быстро.

— Меня зовут Падма, — сказала я.

— А меня звали столько раз по-разному, что трудно выбрать, — сказала она. — Пусть будет Аю. Сегодня я — Аю.

Она оглядела пустые очертания домов, которые едва проступали сквозь серую дымку.

— Ты здесь одна?

— Да, — ответила я.

Мы сидели, и тишина слушала нас, облизываясь. Рядом со мной лежала Книга. Её страницы были гладкими и пустыми, как небо. Но стоило мне приоткрыть её, как из-под обложки хлынули символы — стаи птиц из застывших чернил, которые на мгновение вспоминали, что у них есть крылья.

— Закроешь — они исчезнут, — сказала я, не глядя на неё. — Откроешь до конца — исчезнешь сама.

Аю молча смотрела на Книгу.

Я подумала. Если исчезнет тот, кто читает... что станет с рукой, которая держит книгу?

Часть первая

Глава первая

В Дубае даже рассвет пахнет деньгами. Не свежестью, не морем, не надеждой, а именно деньгами — стерильными, как хирургические перчатки, и такими же холодными. Солнце в Эмиратах — не звезда. Это вердикт. Безжалостный, окончательный, вынесенный с высоты белесого, обескровленного неба. Оно сжигает тени, выпаривает цвета, превращает воздух за окном в дрожащее марево, в линзу, сквозь которую мир кажется вечной, расплавленной ошибкой.

Внутри, в апартаментах на сорок седьмом этаже башни, похожей на кристаллический шприц, вонзенный в вену пустыни, царит холод. Не природный, живой холод тибетского снега, а стерильный, минеральный холод кондиционера. Он гудит ровно и неустанно, как сердце бога, сделанного из плат и фреона. Этот гул — единственный саундтрек её новой жизни.

Аямэ Ёсикава. Имя, которое она носит сейчас, ощущается как дорогое, но чужое платье. Оно сидит безупречно, но швы впиваются в кожу, напоминая, что это лишь маскарадный костюм. Во внутреннем, родовом календаре её души, где столетия спрессовываются в одно

тягучее мгновение, это имя — всего лишь очередная отметка, сделанная на полях уже несуществующей книги. Так, в последний раз её звали Аюми Сато, а в токийской полиции до сих пор ищут Мияко Икеду. Она — женщина с коллекцией имён, как у некоторых коллекция сумок: ни одно не по-настоящему своё, но все — дорогие.

В ОАЭ она живёт уже второй год. Здесь легко быть никем. Здесь все — кто-то другой. Здесь можно быть русским, который притворяется англичанином, индийцем, который играет американца, или японкой, которая забыла, как звучит её родной язык. Здесь можно быть даже женщиной, которая не занимается больше хакерством, потому что денег хватает, а скука — это единственное, что не облагается налогом.

Деньги для неё, — не просто сумма. Это абстракция, математическая концепция бесконечности, которой хватило бы на то, чтобы купить эту башню, этот город, эту страну и ещё останется на пару соседних. Но деньги не отменяют скуки. Они лишь делают её дороже.

Она сидит в кресле и смотрит на город. Город-мираж, выросший на нефтедолларах и отчаянии тысяч экспатов, — этих вечных кочевников в деловых костюмах, которые променяли свои корни на tax-free рай и иллюзию успеха. Она наблюдает за ними в лобби отелей и моллах, этих хрустальных соборах, воздвигнутых в честь Мамоны. Блондинки с лицами, обладающими пластикой яиц Фаберже, обсуждают стоимость обучения своих детей в школах, где учат чему угодно, кроме умения быть счастливым. Мужчины в ослепительно белых дишдашах, похожие на жрецов какого-то чистоплотного культа, заключают сделки, перегоняя невидимые цифры из одной пустоты в другую. Это грандиозный, до тошноты вылизанный фарс, лишенный даже того честного, пьяного безумия, что было в её прошлой жизни. Там люди несчастны по-настоящему. Здесь — они несчастны по каталогу.

Иногда она заходит в кафе, просто чтобы услышать человеческий голос, не искаженный динамиками телефона.

— Еще воды, мадам? — спрашивает официант, чья улыбка — часть униформы.

— Стакана достаточно, — отвечает она.

— Стакан существует, чтобы его наполнять.

— А некоторые вещи, — говорит Аямэ, глядя на его отражение в полированном мраморе стола, — существуют, чтобы оставаться пустыми.

Официант кивает, не поняв ни слова, и исчезает. Диалоги здесь такие же, как и архитектура — идеальные по форме и абсолютно пустые внутри.

Поэтому она гуляет. Ранним утром, в тот предрассветный час жемчуга и чернил, когда жара еще не вынесла свой приговор, она идет по кромке Персидского залива. Вода, теплая, как парное молоко, лениво облизывает песок, белый и мелкий, как кокаин. Она идет одна. Всегда одна. Красивая, недоступная женщина в этом мире — не объект желания, а скорее объект культурного наследия: на неё можно смотреть, ею можно восхищаться, но трогать её как-то не принято. Мужчины боятся её, как боятся слишком сложных уравнений. Они смотрят на неё, как на витрину с драгоценностями: хочется потрогать, но страшно, что сработает сигнализация. Женщины смотрят с подозрением, как будто она может украсть их мужей, детей и даже их отражения в зеркале.

Она идет, и соленая влага оседает на коже, и в этот момент сквозь стерильность Эмиратов проступает древний, загадочный мир — мир запахов, ощущений, мир, где каждая деталь — событие. Где песок под босыми ногами — не просто песок, а мириады мертвых жизней. Где далекий танкер на горизонте — не корабль, а точка в конце предложения, которое она никак не может дочитать. Она — Наблюдатель в самой дорогой в мире золотой клетке.

И внутри, в том месте, где живут её мертвые имена, шевелится чувство. Чувство рока, знакомое ей с детства. Чувство, что мир — это не просто хаос, а сложный механизм, который рано или поздно дает сбой. Она не знает, когда это произойдет. Но она ждет. Она всегда ждет. Потому что тишина и порядок для неё — это лишь пауза между двумя ошибками в коде.

Глава вторая

Лобби отеля, где Аямэ иногда пила свой изрядно надоевший кофе, было спроектировано с такой агрессивной, стерильной роскошью, что,

казалось, оно само могло в любой момент достичь самосознания и немедленно покончить с собой от экзистенциальной тоски. Мрамор был отполирован до состояния зеркала, в котором отражались лишь призраки амбиций.

Именно в эту герметичную пустоту, как два вируса в чистую операционную систему, вторглись они.

Они материализовались у её столика с неуклюжестью медведей, пытающихся играть в шахматы. Один был огромным, молчаливым шкафом из мышц, одетым в костюм, который, очевидно, был куплен в состоянии паники в аэропортовом дьюти-фри и теперь мстил своему владельцу, пережимая ему кровообращение в районе шеи. Второй, пониже и поплотнее, был лицом и ртом операции. Его костюм был дороже, но сидел так же плохо, а от него исходил аромат одеколона, который можно было бы классифицировать как химическое оружие на основе хвои и отчаяния. Русские. Или какая-то их производная. Это было видно по той тяжеловесной, лишенной всякой иронии серьезности, с которой они пытались выглядеть непринужденно.

— Добрый вечер, — произнес тот, что поменьше, с акцентом, который мог бы пилить стекло. Он попытался улыбнуться, но его лицевые мышцы, очевидно, не получили соответствующей инструкции. — Извините, это место занято?

— Теперь, видимо, да, — отвечает Аямэ, не отрывая взгляда от чашки. — Но, если вы ищете компанию, могу порекомендовать вам друга.

— Мы просто хотели познакомиться, — к разговору подключился его напарник. — В этом городе так мало интересных людей.

— А вы, должно быть, из клуба «Анонимных социопатов»? — язвит Аямэ. — Или просто решили, что сегодня ваш день для суицида?

— Нет, мы просто видим, что вы скучаете. Мы тоже скучаем. Может, поскучаем вместе?

Аямэ медленно подняла на него глаза. Её взгляд был взглядом патологоанатома, изучающего особенно незамысловатую причину смерти.

— Я не скучаю, — ответила она. Её голос был ровным и холодным, как мрамор под её чашкой. — Я наблюдаю. Это разные процессы.

— Наблюдаете? — переспросил он, явно сбитый с толку. — За чем?

— За энтропией, — сказала Аямэ и сделала глоток кофе. — Она здесь особенно наглядна.

Его напарник-шкаф издал звук, похожий на скрежет гравия. Меньший откашлялся, решил сменить тактику и зайти с фланга культурного обмена.

— Вы японка? Красивая. Ваши глаза... как два дорогих спутника.

— Спутники наблюдают. Даже дорогие, — парировала она, не меняя тона. — Они не вступают в диалог. А теперь, если вы не возражаете, я хотела бы закончить свой эксперимент по наблюдению в тишине.

— Мы возражаем, — внезапно сказал он, и вся неуклюжая вежливость слетела с него, как дешевая позолота. Улыбка исчезла. Осталось только лицо человека, привыкшего решать проблемы ломом. — Мы очень возражаем, Мияко Икеда.

Имя. Вот оно.

Чувство рока, дремавшее в глубине её души, лениво открыло один глаз. Не страх. Нет. Скорее холодное, знакомое пощелкивание замка, вставшего на свое место. Глава книги, которую она считала закрытой, внезапно оказалась открыта снова.

— Мы не преступники, мисс Икеда, — продолжил он, перейдя на такой же холодный, деловой тон. — Мы — оптимизаторы. Мы оптимизируем финансовые потоки.

— Звучит как эвфемизм для воровства, — заметила она.

— Все в этом мире — эвфемизм для чего-то другого. Мы предлагаем вам сотрудничество. У нас есть партнеры, в том числе в Японии. Но иногда их активы недостаточно ликвидны. Мы хотим, чтобы вы создали для нас... инструмент для повышения ликвидности. Небольшие, почти незаметные транзакции. Пыль. Золотая пыль.

Он наклонился ближе, и запах его одеколona усилился до тактической концентрации.

— Имя — это ключ, мисс Икеда. Оно может открывать двери. Оно может и запирает их. Навсегда. Ваш нынешний ключ, «Аямэ Ёсикава», довольно хрупкий. Мы можем его укрепить. А можем и сломать. Или уничтожить. Выбор за вами.

— А если я не соглашусь? — спрашивает Аямэ, и её голос звучит так, будто она уже знает ответ.

— Тогда вы исчезнете. Не как персонаж, а как баг, который никто не будет чинить.

Она молчала, глядя не на него, а на кристаллик сахара на блюде. Он лежал один, идеальной формы, отражая в своих гранях весь этот стерильный, фальшивый мир. Один маленький, упорядоченный кристалл посреди хаоса. В её голове проносились не мысли, а строчки кода, элегантные, смертоносные алгоритмы.

Бежать? Прямо сейчас? Невозможно. Новые документы, новая легенда — это требует времени. Отказаться? Глупо. Эти люди не принимают отказов. Согласиться?

Скука, эта липкая, вязкая болезнь богатых, начала отступать. Впервые за два года она почувствовала нечто, похожее на интерес. Не к деньгам. Деньги были вульгарной, скучной материей. Но сама задача... сама игра...

Создать для этих дикарей программу, которая будет не просто воровать? Создать нечто, что поставит под сомнение саму идею их цифровых империй? Создать элегантный вирус, поэму из кода, которая сожрет их мир изнутри, пока они будут радоваться приходящей «пыли»?

Она медленно подняла взгляд и посмотрела на них. По-настоящему. И впервые за этот вечер позволила себе легкую, едва заметную, как трещина на льду, улыбку. В её внутреннем мире, где столетиями лили дожди, на мгновение выглянуло солнце. Черное, как нефть.

— Где мы сможем поговорить в более «интимной» обстановке? — с легкой улыбкой спросила она.

Глава третья

Такси в Дубае — это всегда лотерея. Можно попасть на философа из Кералы, который всю дорогу будет рассказывать о смысле жизни и скидках на манго, а можно — на молчаливого пакистанца, который смотрит на дорогу так, будто она лично его предала. Сегодня Аюми достаётся второй вариант. Водитель везёт её через лабиринт одинаковых улиц, где даже пальмы выглядят так, будто их вырастили в пробирке. За окном — город, который строили люди, никогда не читавшие Борхеса, но всё равно построившие идеальный лабиринт. Пакистанец с глазами мученика, слушал на приглушенной громкости болливудскую поп-музыку — калейдоскоп визгливых синтезаторов и экстатических воплей, которые звучали как саундтрек к веселому, красочному концу света.

Аюми смотрела в окно на проплывающие мимо небоскребы, эти стеклянные надгробия, и думала, что, в сущности, саундтрек был подобран идеально.

Они встретили её в вилле, которая была настолько вызывающе скромной, что её анонимность кричала громче любой неоновой вывески. Пластиковый газон цвета больного попугая. Бежевые стены. Мебель из каталога, лишённая всяких признаков жизни, вкуса или даже простого человеческого присутствия. Это было не жилище. Это была явочная квартира, обставленная с безразличием человека, который в любой момент готов сжечь все мосты, а заодно и саму квартиру.

На диване её ждали вчерашние гости. Здоровяк, представившийся как Василий («Но ты зови меня Вася»), и его более словоохотливый компаньон Алексей («А я Лёша»). На шеях у обоих висели золотые цепи такой толщины, что ими можно было бы пришвартовать небольшую яхту. На запястьях сверкали часы, стоимость которых могла бы покрыть внешний долг какой-нибудь африканской страны или выкупить этот дом вместе с его хозяевами и их детьми до седьмого колена.

— Почему здесь? — спросила Аямэ, обводя взглядом стерильную гостиную. — Я думала, ваш вид предпочитает пентхаусы с видом на собственное эго.

— Мы сюда работать приехали, а не развлекаться, — с каменным лицом ответил Лёша. — Развлекаться будем потом.

Аямэ едва заметно улыбнулась. Это было так по-русски. Даже их скромность была формой агрессии.

Она села в кресло напротив.

— Может, налить что-нибудь выпить? — спросил Лёша, кивнув в сторону бара, заставленного бутылками с узнаваемыми этикетками.

— Водки? — с легкой иронией уточнила Аямэ.

— Ну да.

— Нет, спасибо. Слишком жарко.

— Ну, если передумаешь... у нас тут есть всё, кроме смысла жизни.

— Смысл жизни я уже пробовала, — ответила Аямэ, не меняя тона. — Не впечатлило.

— Итак, работа, — сказала она. — Вы хотели обсудить инструмент для повышения ликвидности.

— Инструмент, да, — кивнул Лёша, в то время как Вася на заднем плане открыл банку энергетика с оглушительным «пшшш», который прозвучал в тишине как выстрел. — Нам нужна программа. Вирус. Он должен проникать на счета наших... партнеров. И понемногу, очень незаметно, переводить нам средства. Как будто... — он пощелкал пальцами, подбирая метафору, — как будто с ковра испаряется пыль. Чтобы никто ничего не заметил, пока не станет слишком поздно.

— И самое главное, — добавил он, понизив голос до заговорщицкого шепота. — Никаких следов. Никаких записей в блокчейне, которые можно было бы отследить. Транзакции должны быть... призраками.

Аямэ молчала, давая абсурдности момента полностью раскрыться.

— То есть, — произнесла она медленно, с расстановкой, — вы хотите, чтобы я нарушила фундаментальные законы криптографии, сломала неизменяемую природу распределенного реестра и, по сути, отменила математику. Просто так. Во вторник... Сегодня же вторник?

— Да. И тебе придется постараться, — мрачно сказал Лёша, и его взгляд стал тяжелым.

— Вы хотите невозможного, — с сарказмом отвечает Аюмэ. — Может, ещё, и чтобы деньги сами приходили к вам в чемодане, а полиция приносила вам кофе?

— Постарайся, — повторил Лёша. — Ты знаешь, почему.

Внутренний мир Аямэ, эта тихая, залитая вечным дождем заводь, на мгновение замер. Она смотрела на них — на этих варваров в дорогих костюмах, этих детей, играющих со спичками в пороховом погребе, — и чувство рока сменилось чувством упоительного, почти художественного презрения. Они не понимали, что просят. Они просили не взломать замок. Они просили создать ключ, который отменяет само понятие замков.

— А что я буду с этого иметь? — спросила она, возвращаясь к их примитивной игре.

— Можешь прописать себе свои пять процентов. Нам не жалко, — великодушно разрешил Лёша. — Но главное не это. Главное — мы решим твою проблему. Мияко Икеда, Аямэ Ёсикава... все твои старые имена «умрут». Исчезнут из всех баз данных. Для любой полиции мира ты перестанешь существовать.

— Ну, кто-то из них должен остаться, — протянула она с легкой ухмылкой. — А если я откажусь?

Вася, перестав пить свой энергетик, посмотрел на неё. В его глазах не было ничего, кроме скуки и физической возможности прекратить её существование. Нет. Скорее так, как будто оценивал, сколько времени займёт её исчезновение.

— Тогда умрешь ты, — сказал Лёша.

Аямэ встала. Сделка была заключена. Не с ними. С самой собой. Она построит для них их инструмент. Но это будет не просто вирус. Это будет произведение искусства. Поэма, написанная на языке ассемблера. Реквием по их жадности.

Она вызвала такси и, уже стоя в дверях, обернулась.

— Вы неплохо говорите по-английски. Какие еще языки знаете?

Лёша самодовольно усмехнулся.

— Русский. Для остального есть онлайн-переводчики.

Аямэ кивнула, будто услышала нечто чрезвычайно важное.

— कथायाः आरम्भः, मध्यः, अन्तः च भवेत् । किन्तु तस्मिन् क्रमेण न अवश्यम्.

Они уставились на неё, как два барана на новые ворота.

— Это что, тайский? — наконец спросил Лёша.

— Нет, — ответила Аямэ, и в её голосе прозвучали нотки того тепла, которое бывает у лавы перед извержением. — Это санскрит. Означает: «У истории должны быть начало, середина и конец. Но не обязательно в таком порядке». Я поехала работать. А вы теперь можете развлечься.

Она вышла, оставив их в растерянности переваривать фразу, которая была не просто ответом, а эпиграфом к их собственному некрологу.

Глава четвертая

Возвращаясь в такси, Аямэ чувствовала, как внутри неё просыпается древний, холодный голод. Не голод к деньгам — деньги были скучным побочным продуктом. Это был голод художника к чистому холсту, голод бога к бесформенной глине. Эти два варвара в безвкусных костюмах, сами того не ведая, только что заказали ей написать «Гернику». Только вместо холста у неё будет мировая финансовая система, а вместо красок — их собственная жадность.

Именно там, у этих русских, под шипенье открывающейся банки энергетика, она вспомнила. Вспомнила, то, что должно было решить их проблему. Решить раз и навсегда.

Воспоминание всплыло не как четкая картинка, а как забытый вкус, как призрак запаха из далекого прошлого. «Мэйхуа». Старая, заброшенная криптографическая библиотека, на которую она наткнулась много лет назад в самых пыльных, заросших паутиной закоулках даркнета. Она привлекла её внимание своим названием — нежным,

поэтичным, совершенно неуместным в мире, где все называлось в духе «Hydra» или «Chaos Toolkit».

Библиотека была странной. Написанная на нескольких давно вымерших языках программирования, она была похожа на манускрипт алхимика, пытавшегося превратить свинец в золото с помощью перфокарт. Её главная и, по сути, единственная функция была абсолютно бесполезной и в то же время завораживающей: она позволяла перекодировать любые данные — исполняемый файл, текстовый документ, изображение — в элегантные, каллиграфически выверенные строки на санскрите, используя почти вымерший шрифт сиддхам. Аямэ тогда подумала, что это творение какого-то гениального, но свихнувшегося на почве восточной философии программиста-хиппи из 70-х.

Главным же недостатком, из-за которого библиотека была непрактичной, был её вес. К ней был «прицеплен» какой-то колоссальный текстовый файл. Тоже под названием «Мэйхуа». Вероятно, какой-то сентиментальный роман или сборник стихов, который автор использовал то ли как пример шифрования, то ли как попытку написать роман в коде. Дилетантство. Трогательное в своей наивности.

Но сейчас, в этой раскаленной коробке такси, Аямэ поняла: эта бесполезная, элегантная странность была именно тем, что ей нужно. Идеальным инструментом для поэтического убийства.

Вернувшись в свои апартаменты, она превратила гостиную в операционный центр. Шторы были задернуты, создавая искусственную ночь. На гигантском экране, который обычно показывал фальшивые каминные или аквариумные огоньки, теперь горели лишь строки терминала. Курсор мигал ровно, как сердце хирурга перед сложнейшей операцией.

Найти «Мэйхуа» было все равно что отыскать определенную песчинку на пляже. Но она знала, где искать. После нескольких часов погружения в цифровые катакомбы она нашла её. Библиотека лежала в зашифрованном архиве на заброшенном сервере, который, судя по всему, физически находился где-то в Исландии и питался от геотермального источника.

Она распаковала архив. И снова усмехнулась этому дилетантству. Файл `meihua_library.so/.dll/.wasm` весил несколько килобайт. А файл `meihua_narrative_backup.txt.gz` — десятки мегабайт. «Лишний мусор, — подумала она с профессиональным презрением. — Тормозит всю систему». Она даже не открыла его. Зачем? Читать чужой графоманский роман? Она выделила файл и с безжалостной элегантностью хирурга, удаляющего доброкачественную, но уродливую опухоль, нажала «Delete». Система на мгновение задумалась, выдав предупреждение: «Данный компонент является неотъемлемой частью архитектуры. Удаление может привести к непредсказуемой работе модуля».

«Непредсказуемость — это именно то, что мне нужно», — подумала Аямэ и нажала «Подтвердить».

Теперь холст был чист.

И она начала творить.

Это не было похоже на программирование. Это был акт чистого искусства. Она не писала код — она ткала его. Каждая строка была нитью в гобелене логики. Она создавала вирус, который был одновременно и хищником и призраком. Он проникал в систему не как вор, а как идея, как мысль, которую нельзя выкинуть из головы. Он не взламывал защиту — он убеждал её, что он и есть часть системы.

Её пальцы летали над клавиатурой. Она писала рекурсии, которые пожирали сами себя, создавая черные дыры в протоколах безопасности. Она создавала «транзакции-призраки», которые существовали и не существовали одновременно, подчиняясь не законам математики, а законам квантовой неопределенности. Они брали деньги из точки А, но никогда не доходили до точки Б. Они просто... растворялись в пути, оставляя после себя лишь элегантную пустоту.

И в самом сердце этого шедевра она вплела облегченный, оптимизированный модуль «Мэйхуа». Теперь каждая аннигилированная транзакция, каждый украденный доллар, каждый бит финансовой энтропии не просто исчезал. Он превращался в строку на санскрите. В стихи на языке, который существовал раньше денег. В шлоку.

Она назвала свое творение ŚLOKA.

Когда все было готово, она откинулась в кресле. На экране лежал крошечный исполняемый файл, весом в несколько килобайт. Идеальный. Смертоносный. Поэтичный. Это был не вирус. Это был реквием. Реквием по миру, построенному на жадности, написанный на языке богов.

Если Аямэ Ёсикава суждено исчезнуть, раствориться в мире вместе с Мияко Икеду? Что останется вместо их? Она слишком привыкла к своему новому имени... И она добавила ключ, сид-фразу для вируса: «Аямэ Ёсикава».

Так она вновь стала Аюми Сато. Осталось только дожидаться звонка от её новых «партнеров». Шоу должно было вот-вот начаться.

Часть вторая

Глава первая

Запуск ŚLOKA не сопровождался ни громом, ни молнией. Он был тихим, как грех. Один клик. Один-единственный, элегантный, как росчерк пера под смертным приговором.

И вирус потёк.

Он двигался по оптоволоконным венам финансовой системы не как программа, а как слух. Как шёпот, передающийся от сервера к серверу, от кошелька к кошельку. Он не взламывал защиту — он вкрадчиво убеждал её, что он и есть сама суть протокола. Он не проникал на майнинговые фермы — он колонизировал их, становясь неотличимым от гула тысяч вентиляторов, охлаждающих сердце машины.

Первые результаты пришли через несколько часов. Звонок от Леши был пропитан таким плохо скрываемым восторгом, что, казалось, телефонная трубка вот-вот захлебнется от счастья.

— Это... это поэзия! — почти кричал он. — Оно работает! Деньги просто... появляются! Как роса поутру!

Он пригласил её отметить. Немедленно.

Яхта была монументом идее, что если долго и упорно швыряться в безвкусицу деньгами, она в конце концов сдастся и станет роскошью. Белоснежная, как улыбка дантиста, она покачивалась у частного причала, а на борту уже пузырилось шампанское в ведерках размером с небольшую бочку. Леша и Вася встретили её на палубе, сияющие, как два новых рубля. Они сменили свои спортивные костюмы на шелковые рубашки с таким яростным принтом, что они могли бы вызвать эпилептический припадок у хамелеона.

— За ликвидность! — провозгласил Леша, протягивая Аямэ бокал. — Сегодня мы развлекаемся! Сегодня — живём!

Она сделала глоток. Шампанское было дорогим, холодным и совершенно бездушным. Как и все в этом городе.

— Кстати, — сказал Леша, понизив голос и выудив из кармана телефон. — Можешь проверить. Мияко Икеда больше не существует. Аямэ Ёсикава числится пропавшей без вести во время недавнего «несчастливого случая» в море. Ты теперь чиста, как слеза младенца.

— Младенцы часто плачут, — заметила Аямэ.

— Это уже детали, — отмахнулся он. — Как, кстати, называется твоя программа? Твой... инструмент?

— ŚLOKA.

— Шлока? — переспросил Вася, который до этого молча пытался намазать черную икру на кусок ананаса. — Что за хрень? Звучит как болезнь какая-то.

— Можете называть её «Кали-Юга», — с легкой улыбкой сказала Аямэ. — Вам так будет понятнее.

— Кали-Юга... Звучит солидно, — одобрил Леша. — А тебя как теперь звать?

— Аюми.

— За Аюми! За Кали-Югу! — он поднял бокал. — И за твои пять процентов!

Они пили. Шампанское сменялось ледяной водкой, водка — снова шампанским. Вася рассказывал какую-то невообразимо скучную историю про сделку с недвижимостью, Леша смеялся, а Аямэ наблюдала. Она чувствовала, как алкоголь приятно размывает контуры этого абсурдного мира, делая его почти сносным.

В какой-то момент Леша, уже изрядно захмелевший, потянул её к большому зеркалу в позолоченной раме в кают-компании.

— Посмотри! — сказал он, обнимая её за плечи. — Какая мы отличная пара! Я красивый, ты умная. Идеальное партнерство.

И тут она это увидела. На одну неуловимую долю секунды, на один удар сердца, его отражение в зеркале замерло. Застыло. Его улыбка превратилась в неподвижную маску, в то время как он сам продолжал говорить. Это было как короткий «лаг» в видеоигре, как зависший кадр.

Она моргнула, и наваждение прошло. Отражение снова стало послушным, повторяя каждое его движение. «Шампанское», — подумала она. — «Слишком много шампанского».

— Нет, — сказала она, мягко высвобождаясь из его объятий. — Ты какой-то замороженный.

Леша расхохотался.

— Так я же из Сибири! Мы там все немного... замороженные!

Он объявил, что завтра они с Васей улетают. Какие-то дела в Европе.

— Но мы будем на связи, — заверил он ее. — Ты сделала прекрасную работу. Очень... эффективную. Думаю, ты нам еще понадобишься.

Она кивнула. Но она знала то, чего не знали они. Она знала, что они больше никогда не встретятся. Не в этом мире. Она смотрела, как эти два успешных, самодовольных хищника празднуют свою победу, и не чувствовала ничего, кроме холодной отстраненности художника, смотрящего на свое законченное полотно.

Они не понимали, что празднуют не начало своего триумфа. Они праздновали первый день своего собственного похоронного ритуала.

А она больше не Аямэ.

Глава вторая

Все началось, как и предполагала Аюми, в самых тёмных и параноидальных уголках интернета. На форумах, где люди с аватарами в виде анонимусов и персонажей аниме обсуждали теории заговора и будущее криптоанархизма, появились первые сообщения. Они были похожи на отчеты из экспедиции, столкнувшейся с чем-то невозможным.

Форум DarkNet «Цифровой Левиафан»:

> *User: Satoshi_Lives_69*

Тема: Пропала транзакция. Не откат, не ошибка. Просто исчезла.

Народ, кто-нибудь сталкивался? Отправлял 0.15 BTC на холодный кошелек. Транзакция подтверждена, 6 блоков сверху. А денег на

кошельке нет. И в эксплорере... в поле хэша транзакции какая-то дичь. Похоже на арабскую вязь или что-то такое. Кто-нибудь знает, что за херня?

> User: CodelsLaw

Satoshi_Lives_69

Покажи хэш.

> User: Satoshi_Lives_69

CodelsLaw

Bom: अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्

*Что это, бл**ь?*

> User: GnosisSeeker

Satoshi_Lives_69

Это не арабский. Это санскрит. Деванагари. «"Это свой, а это чужой" — так считают недалёкие». Это цитата из Маха Упанишады.

> User: CodelsLaw

Satoshi_Lives_69

*Твоим биткоином п***ц, чувак. Их превратили в философию)).*

Сначала это воспринималось как единичный, изощренный взлом. Но через несколько дней такие сообщения стали появляться десятками. А потом сотнями. Паттерн был один и тот же. Деньги не переводились. Они не крались. Они аннигилировались. А на их месте, в неизменяемом граните блокчейна, оставалась шлока на санскрите. Поэтический некролог на могиле транзакции.

Пользователи спорят, кто виноват: индусы, китайцы, ЦРУ, масоны, или, может быть, сам Сатоши Накамото, решивший пошутить.

Для Аюми это — высший комплимент.

Она покинула Дубай на следующий день после вечеринки на яхте, оставив после себя лишь оплаченные счета и легкий аромат хорошего парфюма в лифте. её русские «партнеры» пытались с ней связаться —

сначала восторженно, потом встревоженно, потом истерично. Их сообщения и звонки тонули в цифровой пустоте. Она была уже далеко.

Лето она проводила в Ирландии. В крошечной рыбацкой деревушке на побережье графства Корк, где туман был основным агрегатным состоянием мира, а главной темой для разговоров — разница между мелким дождем и моросью. Она сняла маленький коттедж с видом на атлантическую серость и наслаждалась тишиной.

В местном пабе, где пахнет мокрой шерстью, кислым пивом и вечной тоской, она становится местной знаменитостью.

— Ты из Токио? — спросил бармен, протирая стакан, как будто пытается стереть с него память о прошлой жизни.

— Почти, — ответила Аюми.

— А что ты тут делаешь?

— Смотрю, как исчезают деньги.

— Выбирайте место поудобнее. Здесь это любимое зрелище, — рассмеялся бармен, не понимая, что это была не шутка.

Местные, разумеется, шептались. GossipNet здесь работал надежнее любого 5G, передавая данные со скоростью света на топливе из крепкого чая и праведного осуждения. Кто она, эта молодая, красивая, молчаливая японка? Беглая жена олигарха? Агент спецслужб? Просто сумасшедшая? Старый рыбак Шеймус, чья философия сводилась к тому, что в море рыбы меньше, чем идиотов на суше, авторитетно заявлял в пабе: «Она ждёт. Не знаю чего. Но когда женщина так смотрит на океан, она всегда чего-то ждёт».

Аюми действительно ждала. Она читала новости на своем планшете, просматривая заголовки о хаосе на крипторынках, и чувствовала себя художником на вернисаже собственной выставки, наблюдающим за реакцией публики из-за колонны. её ŚLOKA, её «Кали-Юга», работала безупречно. Она превращала вульгарную, бессмысленную суету денег в чистое, высокое искусство. Она была довольна. Это была самая изящная шутка в истории человечества. И это

не баг. Это её подпись, её маленькая революция в мире, где даже крипто стала скучной.

В один из особенно промозглых вечеров она заметила необычное оживление у единственного в деревне паба «Золотой Якорь». Обычно в это время оттуда доносились лишь звуки трансляции футбольного матча и редкие пьяные выкрики. Сегодня же там стояла густая, напряженная тишина. «Должно быть, пенальти», — лениво подумала она и решила зайти за бутылкой виски.

Но внутри никто не смотрел футбол. Человек двадцать — рыбаки, фермеры, пара туристов — сгрудились у старого телевизора, висевшего под потолком. На экране была не зеленая трава стадиона, а строгий интерьер новостной студии. Бегущая строка гласила: «КРИЗИС ЛИКВИДНОСТИ: БАНК ИРЛАНДИИ ОГРАНИЧИВАЕТ СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ».

Аюми замерла у входа.

— ...эксперты не могут объяснить природу аномалий, — говорил диктор с лицом человека, сообщающего о конце света с вежливой улыбкой. — Миллионы евро просто исчезают со счетов, не оставляя цифрового следа. Сегодня утром небольшой региональный банк «Claddagh Trust» в Голуэе объявил о полном банкротстве после того, как за ночь потерял почти девяносто процентов своих активов.

На экране появилось заплаканное лицо пожилого мужчины в твидовом пиджаке — управляющего того самого банка. Он лепетал что-то о «цифровом испарении».

Аюми смотрела на экран, и ироничная улыбка медленно сползала с её лица. Голуэй. Это было здесь. Рядом. Это был не абстрактный хаос на другом конце света. Это был пожар, который перекинулся с далекого леса на соседний дом.

Её изящная шутка, её артистический жест, её поэтический реквием по жадности только что постучался в дверь маленького ирландского паба.

И она вдруг поняла, с холодной, математической ясностью, что этот стук был адресован лично ей. И ей впервые за долгое время стало по-настоящему холодно.

Глава третья

Хаос не пришел — он просочился. Сначала по капле, потом ручьями, потом — всепоглощающим потоком. Газеты, которые еще вчера писали о сделках и слияниях, теперь напоминали сводки с фронта невидимой войны.

ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК? ЭКСПЕРТЫ ГОВОРЯТ О «ЦИФРОВОЙ ГЕМОРРАГИИ»

The Financial Oracle, 09:22 EST

Лондон, Нью-Йорк, Токио — Мировые финансовые рынки охвачены беспрецедентной паникой. То, что начиналось как серия аномалий в криптовалютных сетях, перекинулось на традиционную банковскую систему. Миллиарды долларов, евро и иен исчезают с корпоративных и частных счетов, оставляя после себя лишь то, что эксперты IBM называли «поэтическим мусором» — строки на древнем санскрите. Хедж-фонды сообщают о «фантомных активах», банкиры говорят об «алгоритмическом полтергейсте».

«Мы столкнулись не со взломом, — заявил на экстренной пресс-конференции глава ЕЦБ, выглядя как человек, который только что видел призрака. — Мы столкнулись с нарушением законов математической природы. Деньги не крадут. Они перестают существовать. Это, как если бы вода в стакане внезапно решила, что она больше не подчиняется законам физики, и просто исчезла».

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В ПАНИКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ БИРЖИ ФИКСИРУЮТ АНОМАЛЬНЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ СРЕДСТВ

The Bussiness Time, 14:07 GMT

Сегодня утром мировые рынки потрясла серия беспрецедентных событий: десятки крупнейших банков и криптобирж сообщили о массовых сбоях в системах учёта. По словам представителей Лондонской фондовой биржи, миллиарды долларов исчезли с корпоративных счетов, не оставив цифрового следа.

В логах транзакций вместо привычных записей — строки на санскрите, которые эксперты пока не могут расшифровать.

«Это не похоже ни на один известный взлом, — заявил представитель Европейского центрального банка. — Деньги не украдены, они просто... исчезли. Как будто их никогда не было».

На фоне паники биткоин за час потерял 30% стоимости, а индекс Dow Jones упал на 1200 пунктов.

В социальных сетях уже появились мемы: «Ваши деньги стали ШЛАКОМ».

Эксперты призывают сохранять спокойствие, но признают: никто не понимает, что происходит.

Аюми читала это, сидя в своем ирландском коттедже. За окном без устали плакал дождь, и его стук по стеклу был больше не просто звуком воды; это был звук её собственного кода, исполняющегося где-то там, в холодном, невидимом сердце мира. Она не чувствовала раскаяния. Какая разница, что именно аннигилировать — биткоины, евро или доллары? Все это были лишь цифры. Симулякры. Элегантные нули в бесконечной игре, которую люди почему-то называли постиндустриальной экономикой. Она создала не вирус. Она создала голод. Философский голод, пожирающий цифровые фикции.

Но даже у самого отстраненного бога есть предел цинизма. Она смотрела на карту авиаперелетов — десятки отменённых рейсов, закрытые воздушные пространства. Ирландия, этот милый, вечно сырой остров, стремительно превращался в ловушку. Пора было уезжать.

Вечером она в последний раз зашла в «Золотой Якорь». Паб гудел тревогой. Люди говорили чуть тише, пили быстрее.

— Ну что, мисс Сато, конец света уже здесь? — спросил её бармен Лиам, наливая пинту Гиннеса.

— Для кого-то мир кончается каждый день, — ответила она.

— Верно, — усмехнулся Лиам. — Но обычно не для проклятых банкиров. Забавно, правда? Все эти шишки в Дублине и Лондоне рвут на себе волосы, а у нас тут... все в порядке. Наш кассовый аппарат работает как часы. Ни у кого ни цента не пропало.

Аюми кивнула, делая вид, что слушает его. Она незаметно открыла на телефоне свой собственный кошелек. Цифры на экране не просто не уменьшились. Они росли. Её пять процентов капали исправно, как дождь за окном, собираясь со всего мира, который пожирала её ŚLOKA. Вирус узнавал своего создателя. Свою королеву. Он оберегал её улей.

— Странно все это, — продолжил Лиам, ставя перед ней пинту. Пена была густой, кремовой, идеальной. — Будто чума какая-то. Но нас она почему-то не трогает.

И в этот момент Аюми увидела. Пена на её пиве. Она не оседала.

Она застыла. Не как плотная масса, а как... стоп-кадр. Каждая крошечная пора, каждый пузырек воздуха замерли в идеальной, невозможной неподвижности, нарушая все известные законы поверхностного натяжения и гравитации. Маленькие капли от лопнувшего пузырька, казалось, просто зависли в воздухе. Это длилось секунду. Может две. Может три. Это была не иллюзия. Это была ошибка в физике.

Она смотрела на эту застывшую, невозможную скульптуру из пузырьков, и холод, который она почувствовала пару дней назад, вернулся, но уже не как предчувствие, а как свершившийся факт.

Её код больше не просто стирал деньги. Он начал редактировать саму реальность.

И она, его автор, сидела в самом эпицентре этой тихой, аномальной зоны, в глазу бури, которую сама же и создала.

Глава четвертая

Она приземлилась в Стамбуле, городе, который всегда балансировал на грани между мирами, а теперь, казалось, готов был окончательно сорваться в пропасть. Воздух был густым и влажным, но в нем чего-то не хватало. Привычный гомон Гранд-базара доносился издалека не как рев жизни, а как слабое эхо. Призыв на молитву с минаретов Голубой мечети был тонким, искаженным, будто пропущенным через плохой динамик. Мир терял громкость.

Большинство магазинов на Истикляль были закрыты. На витринах висели рукописные таблички: «Закрыто по техническим причинам».

Технические причины теперь были у всей планеты. Власти рекомендовали не выходить на улицу без необходимости, и город превратился в лабиринт пустых коридоров, где единственными живыми существами, казалось, были кошки, которые смотрели на Аюми как на что-то, что они уже видели.

Ей нужно было оборудование. Её ноутбук был произведением искусства, но для вскрытия черепной коробки бога, которого она сама создала, требовалась целая нейрохирургическая операционная.

В этом городе даже апокалипсис начинается с рынка. Здесь всё ещё пахнет специями, жареным мясом и человеческой усталостью, но запахи стали тусклее, как будто кто-то разбавил их водой. Но он ещё работал. Вернее, делал вид, что работает. Торговцы сидели у своих гор пряностей — куркумы, шафрана, сумаха — но их цвета были блеклыми, будто присыпанными слоем невидимой пыли.

Она нашла, что искала: жёсткий диск, кабели, что-то ещё — всё это кажется ей не вещами, а реликвиями из прошлого, которое уже не вернётся. Продавец посмотрел на неё, как на человека, который пришёл за билетами на поезд, который давно ушёл.

— Всё хорошо? — спросил он, и в его голосе нет ни страха, ни надежды.

— Всё отлично, — ответила Аюми.

Именно здесь, у лавки с компьютерным оборудованием, она это услышала. Разговор двух женщин, чей шепот был громче любых криков.

— ...просто нет. Я пришла утром, а моей мамы нет. Полиция разводит руками.

— Может, она ушла к соседям?

— Она парализована! Десять лет не вставала с постели! Она не могла уйти сама!

Купив всё необходимое, она прошла мимо их, но внутренний мир, рациональный мир Аюми, эта тихая заводь, превратился в шторм. Чувство рока, которое до этого было лишь фоновой музыкой, теперь оглушало. Мир не просто давал сбой. Он расклеивался на швах. Она шла по древнему городу, и ей казалось, что она видит его изнанку — серые нитки,

из которых было соткано все это великолепие, и эти нитки одна за другой рвались. Это был не страх. Это был экзистенциальный ужас свидетеля, наблюдающего за агонией чего-то огромного и живого.

Ночью, в номере отеля, который выглядел как декорация к фильму о конце света, она построила свой алтарь. Ноут и несколько наспех собранных материнских плат, соединенных в один кластер, загудели, как хор обреченных монахов. На экране бежали строки логов со всего мира. Это было похоже на цифровой спиритический сеанс.

Она погрузилась в код. В архитектуру своего шедевра.

Сначала все было идеально. Элегантно. Безупречно. Её рекурсии, её «транзакции-призраки» — все работало, как швейцарские часы, отсчитывающие время до Армагеддона. Но она искала не это. Она искала аномалию. Источник сбоя, который перекинулся с цифр на физику.

И она его нашла. В самом сердце модуля «Мэйхуа».

Она всегда думала, что функция, отвечающая за генерацию санскрита, — это просто `render_text()`. Изящная «подпись». Но теперь, вглядываясь в скомпилированный код, она увидела то, чего не замечала раньше. Это была не просто генерация текста. Строки на санскрите, шлоки, не были пассивными данными. Они были исполняемыми командами.

Каждая шлока была не просто цитатой. Это была подпрограмма. Одна команда отвечала за свойство «цвет». Другая — за «звук». Третья — за «плотность материи». Её вирус не просто превращал деньги в стихи. Он превращал деньги в топливо для исполнения этих стихов, которые, в свою очередь, переписывали фундаментальные константы реальности.

Она проследила вызов этих подпрограмм. Они все ссылались на один-единственный источник. На библиотеку, которую они должны были использовать как словарь, как шаблон. На компонент, который должен был содержать в себе все правила и всю логику.

Её пальцы пролетели над клавиатурой, отправляя запрос на проверку целостности модуля. И система вернула ответ. Холодный. Безжалостный. Окончательный.

ERROR 404: DEPENDENCY 'meihua_narrative_backup.txt.gz' NOT FOUND.

Файл не найден.

Она смотрела на эту строчку, и мир вокруг неё окончательно потерял смысл.

Программа не сошла с ума. Она работала идеально. Она пыталась построить мир по чертежу, которого больше не существовало. Она пыталась восстановить реальность из резервной копии, которую она, в своем высокомерии, в своем стремлении к «оптимизации», сама же и бросила в цифровой огонь.

Это был не вирус. Это был сирота, отчаянно взывающий к книге, которую она сожгла. И теперь, когда её нет, ŚLOKA не просто ворует деньги. Она ворует свойства у самой реальности. Цвета, звуки, людей.

И вдруг, с ледяной ясностью, к ней пришло понимание: именно её прежнее имя, то самое, которое она почти забыла — Аямэ Ёсикава — и стало тем ключом, той сид-фразой, той командой, что запустила шлоки, как функцию аварийного восстановления.

Она сама открыла дверь, за которой не было ничего, кроме пустоты.

Часть третья

Глава первая

Первым делом она попыталась вернуться. Вернуться туда, в тот пыльный, заброшенный угол даркнета, где она нашла библиотеку «Мэйхуа». Но его больше не было. Не просто ссылка была мертва — вся директория, весь сервер, казалось, были вырезаны из ткани цифрового бытия, оставив после себя лишь гладкую, бесшовную пустоту. Как будто кто-то отредактировал не только настоящее, но и прошлое.

Паника была роскошью, которую она не могла себе позволить. Она начала искать иначе. Не код. Не библиотеку. Она начала искать слово. «Мэйхуа».

И мир ответил. Не кодом. Отзывами.

На старых, заброшенных литературных форумах, в кэше поисковиков, в архивах блогов десятилетней давности она находила упоминания. «Мэйхуа. Триптих». Удивительная, странная книга. Автор — некий Владимир Антипов, из России. Но текста не было нигде. Только его эхо. Призрачные восторги давно исчезнувших читателей.

Она копала дальше, погружаясь в русскоязычный сегмент сети, в этот цифровой лабиринт, построенный из мемов, пиратского софта и экзистенциальной тоски. И там, на одном из старых хакерских форумов, она нашла его. Ник StDime79. В ветке, посвященной криптографии и эзотерике, он утверждал, что не просто читал книгу, но видел фрагменты кода, связанные с ней.

Аюми нашла его контакт. Видеозвонок соединился почти мгновенно. На экране появилось лицо мужчины лет пятидесяти, заросшее щетиной, на фоне стены, увешанной плакатами каких-то метал-групп. StDime79, или просто Дима, выглядел как человек, который слишком долго смотрел в бездну, и бездна в ответ показала ему пару забавных гифок.

— Мияко Икеда, — сказал он без предисловий, и его голос донесся сквозь динамики как поцарапанная виниловая пластинка. — Я уж думал, ты миф. Легенда.

— Легенды не звонят по видеосвязи, — ответила Аюми. — Мне нужна книга. «Мэйхуа. Триптих».

— А, «Мэйхуа»... — усмехнулся он. Изображение на экране на секунду потеряло цвет, став черно-белым. — Книга... да. Автор, Антипов, говорят, в Балашихе жил. В каком-то НИИ работал, знаешь, из этих... где гении и сумасшедшие в одном флаконе. А вся история — Китай, Япония, Тибет... В ней... — звук прервался, зашипев статикой, — ...слишком много деталей. Глоссарий страниц на десять. Символы, ритуалы... это не просто...

Связь плыла. Лицо Димы распадалось на пиксели, его голос тонул в цифровом шуме. Аюми вглядывалась в экран, пытаясь собрать из этих обрывков целое, как археолог, склеивающий древнюю вазу.

В этот момент в дверь её номера громко, настойчиво постучали. Она бросила взгляд на экран, где лицо Димы окончательно превратилось в абстрактную картину, и пошла открывать.

На пороге стояли двое полицейских. Их форма была безупречной, но их глаза — невероятно уставшими.

— Мадам, — сказал старший, и его голос был таким же выцветшим, как мир за окном. — В Константинополе вводится комендантский час — с 8 вечера до 6 утра.

Аюми замерла. Не Стамбул. Константинополь.

Он произнес это так буднично, так естественно, будто это название никогда и не менялось.

Может, я сошла с ума? Или это город сошёл с ума первым? — подумала Аюми. — Глитч? Сбой в исторической памяти целого города?

— Мы рекомендуем вам не покидать отель без крайней необходимости, — продолжил второй. — И еще совет... запаситесь наличными. Электроника... барахлит.

Они ушли, оставив её в тишине коридора. Она закрыла дверь и медленно вернулась к своему алтарю из материнских плат.

На экране больше не было ничего. Только серый, шипящий снег. Как на старом телевизоре, из которого выдернули антенну. Как в мире, из которого выдернули источник сигнала.

Она пыталась перезвонить. Номер не существует. Форум не найден. StDime79, Дима, её единственная ниточка, растворился в пустоте.

Она села и открыла защищенный мессенджер. Нашла контакт «Лёша». Пальцы летели над клавиатурой, печатая без единой эмоции, с холодной точностью хирурга, констатирующего смерть.

«Сейчас не до денег. Мир на грани исчезновения. Это связано с нашим кодом. Мне нужно в Россию. Нужно найти родственников Владимира Антипова из подмосковной Балашихи. Они могут что-то знать».

Она нажала «Отправить».

Теперь оставалось только ждать, существует ли ещё Россия, в которую можно прилететь. И существуют ли ещё русские, которые смогут прочитать её сообщение.

Глава вторая

Частный самолет, который прислали русские, был серебряным призраком, скальпелем, разрезающим больное, выцветшее небо. Внутри царила стерильная тишина, нарушаемая лишь ровным гулом двигателей — последней колыбельной песней умирающей технологии. Аюми смотрела в иллюминатор на Стамбул, который они оставляли внизу.

Город тонул в сумерках. Но это были не обычные сумерки. Огни, которые должны были рассыпаться по холмам, как драгоценные камни, не зажигались. Они... выгорали один за другим, как если бы кто-то выключал их вручную, устав от бесконечной суеты. Как угольки в остывающем костре. Иногда они вспыхивали на мгновение неестественно-ярким, лихорадочным светом, а затем гасли, оставляя после себя черные, мертвые провалы на теле города. Она наблюдала за агонией мегаполиса, как врач смотрит на энцефалограмму умирающего мозга, где вспышки активности становятся все реже, пока не сменяются ровной линией.

Чудом распадающегося мира было то, что первыми умирали его системы. В аэропорту никто не задавал вопросов. Пограничник посмотрел на её паспорт, но не в него. Его глаза были пусты. Он поставил штамп механическим, заученным движением, как автомат, все еще выполняющий свою программу, не зная, что фабрика давно закрыта. Бюрократия, этот великий ритуал порядка, превратилась в бессмысленный танец теней.

Аэропорт Жуковский встретил её тишиной, как гулкий бетонный мавзолей, где не было ни объявлений, ни суеты, ни людей. Только она и одна-единственная фигура, стоявшая у выхода. Лёша.

Он выглядел старше. Не на дни, а на столетия. На его лице застыла та же серая усталость, что и на лице всего мира.

— Ты прилетела, — сказал он, и это была не констатация факта, а скорее удивление тому, что перемещение в пространстве все еще возможно.

Они пошли к машине молча. Тишина между ними была плотной, как тот ирландский туман. Уже в салоне Аюми нарушила её. Она должна была сказать это. Не для того, чтобы оправдаться, а чтобы установить исходные данные.

— Вам нужен был простой код, — произнесла она, глядя прямо перед собой. Её голос был ровным, как отчет о системной ошибке. — Я его оптимизировала. Удалила громоздкий, избыточный модуль, который посчитала мусором. Похоже, это была ошибка в расчетах.

Лёша медленно повернул к ней голову. В его глазах не было ни злости, ни упрека. Только бездонная пустота.

— Забудь, — сказал он. — Вина — это валюта, которая потеряла всякую ценность. Сейчас это уже не важно. В последние три дня ты — единственный человек за пределами этого города, с которым мне удалось связаться.

— А Вася?

— Он уехал на север. К родителям, в Архангельск. Сказал, если миру конец, он хочет увидеть белый снег. Настоящий. Связь с ним пропала два дня назад.

Он смотрел в окно, на серый, безликий пейзаж Подмосковья, похожий на старую декорацию, которую забыли разобрать после спектакля.

— В Москве введено военное положение. Бесполезно. Солдаты исчезают прямо с блокпостов, оставляя после себя только автоматы, прислоненные к ограждениям. Люди выходят из дома за хлебом и не возвращаются. Это даже не хаос. Хаос — это когда что-то происходит. А здесь... здесь все просто перестает быть.

Он полез во внутренний карман и достал сложенный вчетверо лист бумаги.

— Я нашел его. Бывшего мужа Полины Антиповой, внучки твоего автора. Вот адрес. Мой водитель тебя отвезёт.

Аюми взяла бумагу. Она была настоящей. Шершавой. Материальной. Последний артефакт из мира, который еще можно было потрогать.

— А ты? — спросила она.

Лёша криво усмехнулся. Улыбка не коснулась его глаз.

— Обо мне не волнуйся. Я просто... закрываю счета.

Он вышел из машины, не прощаясь, и его фигура растворилась в сером утреннем мареве, как будто его никогда и не было. Аюми осталась одна в тишине роскошного автомобиля, который вез её в сердце лабиринта, в Балашиху, навстречу последнему призраку ушедшей эпохи.

Глава третья

Поездка по Подмосковью была путешествием по картине, с которой медленно стирали жизнь. Здесь не было руин, пожаров или следов паники. Был лишь тихий, вязкий ужас нормальности, лишенной содержания. Панельные дома-близнецы стояли бесконечными рядами, как строчки в коде, который перестал исполняться. Люди двигались по

улицам, но их движения были механическими, лишенными цели — как у заводных игрушек, у которых садится пружина. Аюми смотрела из окна машины на детскую качель, которая медленно качалась на пустой площадке, хотя не было ни ветра, ни ребёнка. Это был мир-воспоминание, мир-послеобраз, который еще не понял, что он уже закончился.

Бывший муж Полины, Александр, жил в одной из таких панельных коробок в Балашихе. Он был худым, уставшим человеком с глазами, в которых давно погас всякий свет. Он встретил Аюми без удивления, будто ждал её всю жизнь или, наоборот, не ждал уже ничего.

Квартира была маленькой, почти пустой. Он предложил ей чай. Чай был теплым, но не имел вкуса. Просто теплая, вода с оттенком ржавчины, но без привкуса водопроводной хлорки.

— Полина улетела в Тибет, — сказал он, глядя не на неё, а на пылинки, танцующие в слабом луче света из окна. — С небольшой группой. Хотела найти какую-то деревню в горах, о которой вычитала в записях деда. Её родители говорили, что от неё нет вестей уже несколько недель.

При слове «Тибет» в сознании Аюми вспыхнула картинка. Непрошенная, как сбой в системе. Маленькая девочка в яркой одежде стоит посреди заснеженного двора и ловит языком падающие снежинки. Но в этой идеальной, почти пасторальной сцене был изъян, который превращал её в кошмар. Снежинки были серыми, как пепел.

— У вас есть его книга? — спросила Аюми, отгоняя видение.

— Нет. Только какие-то старые тетради. Записи, черновики. Можете посмотреть. — Он кивнул на пыльную стопку на полке. — Полина говорила, дед до самой смерти переписывал свой триптих. Что-то менял, добавлял. И все время возился с какой-то программой на своем старом компьютере. Говорил, что пишет «словарь для мира».

Аюми взяла верхнюю тетрадь. Пожелтевшие, рассыпающиеся страницы. Выцветшие чернила. Это был дневник. Начало 1980-х.

12 октября 1983 г. Институт №26.

Снова спорили с ребятами о Проекте. Идея, конечно, безумная, чисто теоретическая. Построить «бога из машины». Систему, которая в случае глобального краха — ядерной войны, например — сможет восстановить цивилизацию. Не инфраструктуру, нет. Восстановить суть. Культуру, человечность, память. Взяли за основу индуистскую цикличность, четыре юги. Каждая эпоха — свой цикл, свои правила. Отсюда и шлоки в ядре. Они должны стать не просто данными, а аксиомами нового мира.

2 ноября 1983 г.

Все это, конечно, бред. Сегодня говорили с Мишей. У нас нет таких мощностей. У нас во всем НИИ столько перфокарт не наберется, чтобы описать хотя бы одну библиотеку. Все компьютеры института, связанные вместе, не справятся с обработкой даже пролога. Но сама идея... она красивая. Назвал наш протокол «Мэйхуа». Как раз начал писать свой роман, пробую на его тексте алгоритмы сжатия. Превращу прозу в чистую структуру. В чистый цифровой код.

Аюми закрыла тетрадь. Пазл сложился. Холодный, чудовищный, идеальный. Это был не бред сумасшедшего программиста-хиппи. Это был заброшенный, но вооруженный проект советских гениев, ждавший своего часа, ждавший, пока мир дорастет до тех мощностей, которые смогут его запустить.

Она допила свой безвкусный чай.

— Александр, — спросила она так спокойно, как только могла. — В книге вашего тестя... там была героиня, Аямэ Ёсикава?

Он посмотрел на неё, впервые проявив что-то похожее на интерес.

— Да. Дочь главного героя из третьей части, «Река». Она погибла. Сгорела во время американской бомбардировки Токио в марте сорок пятого.

Аюми встала. Чувство рока, которое преследовало её всю жизнь, наконец обрело форму. Она носила имя мертвого ребёнка из непрочитанной книги, и это имя стало ключом, который открыл дверь в ничто.

Она должна была лететь в Тибет. Девочка, ловящая языком серый снег, была не просто видением. Это была единственная «точка сингулярности», последняя тропа, которая ещё осталась в умирающем мире. Единственный узел, который ещё удерживал распадающуюся ткань реальности.

Глава четвертая

Лёшин самолет ждал в Жуковском, как серебряный гроб, обещающий полёт в никуда. Пилот, лишь кивнул. «Он звонил. Сказал, отвезти, куда скажете». Это были последние слова, которые Аюми услышала от представителя старого мира.

Полёт был путешествием сквозь пустоту. Внизу, под крыльями, земля уже не была картой городов и полей. Это была серая, размытая акварель, с которой смыли все детали. Небо за иллюминатором было не синим, не серым — оно было бесцветным, как вода, в которой слишком долго мыли кисти.

Они приземлились в Лхасе. Вернее, в месте, которое когда-то было Лхасой. Аюми вспомнила фотографии: яркий, кричащий красками город, дворец Потала, золотом горящий на солнце. То, что она увидела, было выцветшей фотографией самого себя. Дворец был лишь серым силуэтом на фоне серого неба. Улицы были безмолвны. Редкие люди, двигавшиеся по ним, были не людьми, а смазанными силуэтами, тенями, оставшимися на сетчатке мира.

Ей удалось найти старый, ржавый пикап с почти полным баком. Ключи были в замке зажигания. Видимо, понятие «угон» исчезло вместе с понятием «собственность».

Дорога в горы была долгой медитацией на тему конца. Машина дребезжала, и этот монотонный звук был единственным доказательством того, что движение еще возможно. Аюми вела, и мысли в её голове, холодные и ясные, как лед, складывались в окончательный приговор.

Блокчейны оказались лишь поздней, неуклюжей имитацией того, как когда-то записывали мир на бумаге. Мы создали реестры, лишённые смысла, пустили в них пустые цифры, пустые транзакции. И мир

ответил пустотой. А я... я удалила модуль, решив, что это мусор. Оказалось — это был корешок, за который держался мир.

Деревня была мертва. Не покинута. Именно мертва. Дома стояли, как пустые глазницы. Ветер не шевелил выцветшие молитвенные флажки. Тишина была здесь не отсутствием звука, а его аннигиляцией.

И посреди этой абсолютной пустоты сидела она. Падма. Она была единственным, что ещё имело цвет. Её одежда, хоть и приглушенная, все еще помнила, что когда-то была красной и синей. Она сидела на земле и чертила пальцем на пыли какие-то сложные, симметричные узоры.

Рядом с ней, на большом плоском камне, лежала Книга. Открытая.

Падма подняла на неё глаза. Это были не глаза ребёнка. Это были глаза галактики, наблюдающей за смертью последней звезды.

— Читать — значит удерживать, — сказала она, и её голос был единственным звуком в этом мире. — Закрывать — значит отпускать. Писать — значит разделить ответственность за существование.

Аюми подошла ближе. Она посмотрела на открытые страницы. Символы на них не были напечатаны. Они жили. Они мерцали, как далекие созвездия, они медленно плыли, меняя форму. И она поняла.

Мир существует, только пока эта книга открыта. Пока есть Наблюдатель — Падма. Закрывать её — и последняя нить, удерживающая реальность, оборвется. Вселенная схлопнется в точку небытия. Продолжать читать, погрузиться в этот текст — значит самой стать его частью. Раствориться в угасающем мире. Превратиться в еще один мерцающий символ, в еще одну строчку в чужой истории.

Её разум, привыкший к бинарной логике, к if и else, столкнулся с неразрешимым парадоксом. Оба варианта вели к концу.

И тогда, в этой оглушающей тишине на крыше мира, родилось третье решение. Нелогичное. Невозможное. Единственно верное.

Не читать. И не закрывать. Продолжить писать. Перестать быть наблюдателем или персонажем. Стать Творцом. Не исправить свой старый, сломанный код. А вписать себя, как новый код, в новую главу. Создать квайн — самовоспроизводящуюся программу, которая, может

быть, перезапустит мир. Или, может быть, остановит его распад. Или, может быть, просто сотрет всё окончательно. Но уже по её правилам. По правилам искусства, а не ошибки.

Она посмотрела на Падму, на эту древнюю душу в теле ребёнка.

Что будет с ними? Станут ли они новыми богами этого мира? Или просто растворятся в акте творения, как капля краски в воде? Исчезнет ли этот серый, умирающий мир, или наполнится новым, еще невиданным цветом?

Она не знала...

Но она знала, как должна поступить.

Эпилог

Когда Аю поднесла руку к Книге, страницы зашептали.

Это были не слова. Это были голоса всех, кто когда-то читал её, и не только её. Голоса всех тех, кто удерживал этот мир своим вниманием. Они говорили на языке, у которого не было единого алфавита, но был один ритм — ритм сердца, которое бьётся в последний раз, чтобы дать жизнь новому сердцу.

— Ты знаешь, что случится, если ты начнешь писать? — спросила я.

— Да, — сказала Аю, и её нарисованные очертания на мгновение стали почти плотными. — Я перестану быть человеком.

— А если не начнёшь?

— Мир перестанет быть.

— Но ты не знаешь, что будет, если ты напишешь.

— Никто не знает, что будет, если начать писать, — ответила она, и её голос был голосом всех, кто когда-либо стоял перед чистой страницей. — Но, если не начать — ничего не будет.

Аю подняла руку. Её пальцы дрожали, как тень на воде.

Будет ли то, что она напишет, жизнью или смертью? Что станет с ней, что станет со мной, что станет с Книгой, что станет с голосами тех, кто жил на её страницах?

Но Аю уже поняла: если она не попробует это, исчезнет всё. Даже мир, который уже был мёртв.

Я смотрела на её руку — бледную, тонкую, застывшую в воздухе, как мотылёк, который решает, взлететь или упасть. И тогда я сделала единственное, что ещё имело смысл в этом мире.

Я протянула ей свою руку.

Глоссарий:

Даркнет (Darknet) — Скрытый, анонимный сегмент интернета, недоступный через обычные браузеры.

Блокчейн (Blockchain) — Технология распределенного реестра, лежащая в основе криптовалют. Её ключевое свойство — неизменяемость записей. Любая транзакция, однажды записанная, остаётся в системе навсегда.

Криптография (Cryptography) — Наука о методах обеспечения конфиденциальности и целостности данных. Вся современная цифровая экономика построена на криптографических принципах.

Сид-фраза (Seed Phrase) — В мире криптовалют — это мастер-ключ, последовательность слов, которая даёт полный доступ к кошельку.

GossipNet — Гоуссип (сплетник, сеть) — это метод коммуникации, который позволяет эффективно распространять информацию по сети компьютеров, аналогично тому, как слухи распространяются в социальных кругах.

Квайн (Quine) — Реально существующий в программировании тип программы, которая не делает ничего, кроме как печатает свой собственный исходный код.

Санскрит (Sanskrit) — Древний литературный язык Индии, язык священных текстов индуизма.

Шлока (Śloka) — Поэтическая строфа, двестишие на санскрите.

Кали-Юга (Kali Yuga) — В индуистской космологии — последняя из четырёх эпох (юг), «железный век», эпоха тьмы, духовного упадка и раздоров, после которой наступает обновление мира.

Маха Упанишады (Maha Upanishad) — Один из древних философских текстов индуизма.

Герника (Guernica) —: Монументальная картина Пабло Пикассо, ставшая символом ужасов и страданий войны.

«В истории должно быть начало, середина и конец. Но необязательно в таком порядке» — Цитата французского режиссёра и сценариста Жана-Люка Годара.

Константинополь (Constantinople) — Историческое название Стамбула до 1453 года.